Б. ГЕРАСИМОВ-ШЕРВУД



ДВА ТИГРА

САН ФРАНЦИСКО
1 9 6 3

Издание автора

*Обложка и портрет писателя
работы худ. К. К. Кузнецова*

Составил Б. В. Чарковский — Сан Франциско

Отпечатано в типографии др. П. Белея — Мюнхен

Б. ГЕРАСИМОВ-ШЕРВУД

ДВА ТИГРА

РАССКАЗЫ

САН ФРАНЦИСКО
1 9 6 3



OFFICE OF THE VICE PRESIDENT

WASHINGTON

August 6, 1959

Personal

Dear Mr. Sherwood:

This is just a note to thank you for sending me a copy of your short story written in the Russian language.

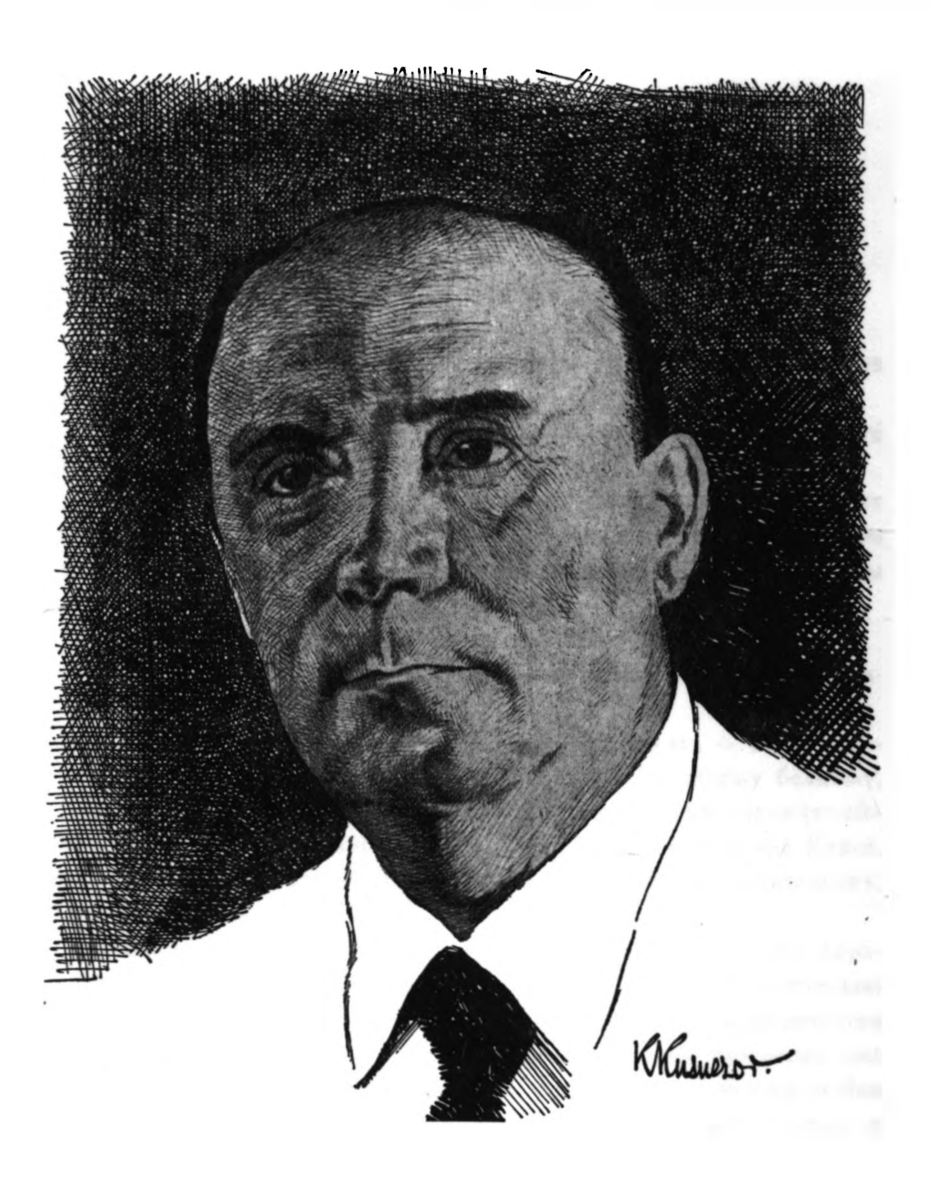
I very much appreciate your concern and interest in world peace and it was very kind of you to remember me in this way.

With every good wish,

Sincerely,

Richard Nixon

Richard Nixon



ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Как автору мне было бы желательно сказать несколько слов об одном из рассказов этого сборника.

«Два Тигра» — посвящены памяти Байкова, — безхитростного певца Маньчжурии, ее природы, зверей и . . . людей.

Если рассказ этот напомнит читателям о Байкове, — то будет достигнута моя цель: сохранить благодарную память об этом умершем скромном барде потрясающего великолепия природы девственных лесов Маньчжурии.

Рассказ — всецело гуманитарен и общечеловечен.

Судьба Ван-Ли, охотника, — роковая обреченность всех порабощенных.

Судьба же искреннего автора, это я знаю, — тоже роковая неизбежность принимать слишком близко к своему бедному, а может быть и глупому, сердцу все тот же извечный «проклятый» вопрос о мире всего мира, который, как пепел угольщика Класа, все таки не перестает стучать в сердцах всех, всех без исключения, честных людей.

Священный долг каждого из нас, писателей, имеющих дарованную свыше возможность, как то бередить и порой мучительно тревожить спокойную, но больную безмятежность меньшинства счастливых, — безмерно стараться по мере всех духовных сил своего таланта, разжечь в пламенный ураган пожара уголек любви к своему ближнему, робко тлеющий — это я тоже знаю, в сердцах всех или почти всех людей.

Обмен культурными ценностями, — в данном случае, я говорю о литературном обмене, — между двумя диаметрально противоположными политическими религиями двух сильнейших на нашей планете государств, принесет некоторую пользу мятущемуся современному человечеству, — только лишь, когда, помимо Божией Искры, — авторы безусловно искренни и правдивы.

Холодное, оффициальное искусство — мертво, как мертва вера без дел.

В стране же, где писатель связан казенным заданием — не может быть в его творчестве настоящего полного стремления к осуществлению высокой мечты о мире всего мира...

В стране, где нет свободы печатного слова, как нет свободы и устного, — может ли быть авторское горение к правде, добру и все той же неизбывной любви к ближнему?..

К счастью я живу в молодой чудесной стране свободного слова и свободной печати.

Поэтому понятен без пояснений ответ мне Ричарда Никсона, еще в бытность его Вице-Президентом Северо-Американских Соединенных Штатов, по поводу этого взаимного культурного обмена между двумя странами и по поводу моего рассказа «Два Тигра».

Рассказ этот был одновременно послан и другим. Другим, увы, не тигровая и все же обросшая шерстью, совесть которых повинна в напрасной гибели многих миллионов людей, инакомыслящих, не желавших и не могших сопротивляться неслыханному гнету и произволу.

Но... звеняще-немое молчание было ответом мне в этом случае...

Однако, никогда история не закрывает бессудно и окончательно книгу бытия, страницы которой сочатся и капают черной кровью растоптанных человеческих сердец, со страниц которой глядят свиные рыла скоморохов, пляшущих перед каменным ликом тирана, утирающих потом кулаками крокодиловы слезы,

конечно не запоздалого раскаяния, у его разбитого саркофага.

Нет!.. Не руки американцев поднимут чуждый красный флаг над Капитолем в Вашингтоне, а сорван будет скоро красный стяг над русским Кремлем руками русской молодежи.

Ее же гневный голос народным палачам:

— На суд!.. На суд!.. На суд!.. пронесется стихийно над всем миром.

Нет!.. Не закроет история книгу судеб бессудно.

Не закроются и страницы повести о жизни и конце Ван-Ли, охотника.

Сан-Франциско, 1962 год *Борис Герасимов-Шервуд*

Два тигра

Памяти Байкова

1

Ван-ли поднялся далеко вверх по узкой и глубокой долине реки.

Ван-Ли идет быстро и легко. На нем только синяя китайская куртка до талии и синие же бумажные штаны-шаровары. На ногах ладно пригнанные, хорошо промасленные улы; обувь — главное для таежника. На спине старый Винчестер. Через спину перекинута тощая сума с провизией. За широким кожаным кушаком Ван-Ли торчит рукоятка ножа и небольшая железная лопаточка.

Сразу видно, что Ван-Ли — жень-шенщик, человек, посвятивший свою жизнь исканию таинственного и целебного корня, имя которого Жень-Шень — священный корень жизни и долголетия.

В глухих дебрях Великой тайги, на склонах хребта Шулигеба, в глубоких падях и долинах, где лесные великаны-деревья ветвями и листьями закрыли прозрачные горные небеса, пьянит запахом прелых растений черноземная, влажная и рыхлая земля. Громадные папоротники и лопухи раски-

нули своевольно здесь свои лапчатые, тускло-зеленые листья. Здесь всегда сыро, и пряный воздух, прогретый скрытым невидимым солнцем, душными тяжелыми волнами стелется над плодоносной почвой.

Здесь тихо всегда. Здесь жизнь замерла, и лишь изредка в чаще деревьев прошуршит-пролетит быстрокрылая птица. Много ярких, пахучих колеблется трав на полянах у быстро текущих вод. Хоть глубоки они, но прозрачны и чисты. И сквозь нежную, синюю мглу можно видеть всю тайную жизнь глубины.

У воды, у подножья высоких обрывистых скал, на земле, нанесенной бурливым потоком, знал Ван-Ли сокровенное место . . .

Старый Тай-Хэ был охотником. Семь раз десять холодных маньчжурских зим видел он. Жил в тайге. Городов не любил, а людей, проживающих в них, презирал и боялся.

— В них души нет . . . Сожжена вся до тла черной злобой к другому . . . И в стяжанье слепом безотрадные жизни проводят . . . Человек городов хуже зверя тайги — он не тело, а душу, подчас, убивает. За тяжелый и желтый металл, что ногами мы здесь попираем, кровь другого, может быть, друга или брата, не страшась, проливает . . . Женщины их лживы, злы и развратны. За яркие ткани из шелка, за запястья и кольца отдают без любви и без страсти молодые тела . . .

— В их роскошных, но мрачных домах продажной любви ты получишь за деньги все виды утонченного разврата, но за минутные утехи ты расплатишься потом ужасными болезнями, которые сгноят твое тело и кости. В тихом покое опиекурилен ты обретешь краткое неизъяснимое блаженство, и тебе пригрезится, что синий благовонный дым маковой росы сделал тебя небожителем . . . Но не верь его обманчивым грезам, — тяжело и угарно будет твое пробуждение . . . Раздавленным червяком покажешься ты самому себе, вместо владыки-полубога . . .

— Бойся, сын, городов! Обходи их далеко стороною. Не для нас, усыновленных тайгою, города и их жители. Всегда помни это, Ван-Ли... Забудешь — погибнешь, как я сам когда-то едва не погиб.

Так поучал молодого Ван-Ли старый Тай-Хэ незадолго до своей кончины. Благоговейно чтил память старца искатель корней. Советы его свято исполнял и хранил навеки память о мудром Тай-Хэ в глубине своего благодарного сердца.

Заметная лишь глазу таежного бродяги тропа шла по самому берегу богатой весенними водами речки. Солнце стояло высоко. В глубоком ущельи, за много веков пробитом пенной горной рекой, накаленный воздух прозрачным паром дрожал над землей. Ван-Ли узнал это место: девять лун тому назад он и старый Тай-Хэ разбили тут лагерь. Вон, на плоском обломке скалы сохранилось еще темное паленое пятно от их лагерного костра. Невдалеке кучею длинных жердей и веток завалился от зимних ветров и тяжелых наносов шалаш, служивший им жильем тогда.

Ван-Ли сбросил суму на землю у реки и прислонил бережно Винчестер к коричневому смолистому стволу векового кедра. Голубая пропасть небес, неизъяснимая в своей бесконечной протяженности, висела над Ван-Ли. Он поднял к ней загорелое, спокойное лицо. Мир прекрасен в гармоничной целесообразности. И здесь, только здесь, среди великанов-утесов, среди дремучей тайги, нетронутой ничьей дерзновенной рукой, в святом и потрясающем молчании Великого Леса, может быть счастлив человек. Ван-Ли и был счастлив. Его юное, сильное тело скитальца лесов здорово. Здорова и душа, незагрязненная тлетворным дыханием города. Его мысль не заражена пороками и низкими страстями горожан. За этот дар вечной природы своему сыну, не убоявшемуся слиться с ее божественным трепетом, Ван-Ли готовился теперь принести глубочайшую благодарность и поклонение. Он снял курму. Бронзовый, мускулистый торс его с рельефны-

ми мышцами, с высокой и широкой грудью, наверное, привлек бы многие женские взгляды. Но Ван-Ли не знал об этом. Разве дикий зверь знает о том, что он силен? Разве барс думает о ловкости и неустрашимости? . .

Склонившись на влажную, но теплую материнскую грудь земли, с особенным усердием воздавал свои моления перед грубым каменным алтарем Ван-Ли великому и всеблагому Готаме.

Сегодня в полночь наступит первый день пятого месяца года, месяца, богатого знойными южными ветрами и ярким золотом лучей жизнедателя-солнца.

По преданию таежных охотников, в эту темную и теплую ночь первого летнего месяца, в таинственный час полуночи, пробуждаются ненадолго к жизни сокровенные и чудодейственные силы природы. В эту ночь в темных дебрях извечного леса, под темными сводами тысячелетних деревьев, странные и необъяснимые происходили явления. Едва наступит час полуночного бдения, как неясными и неведомыми голосами наполняется доселе мертвая тишина тайги. Голоса эти звенят. Они о чем-то кого-то умоляют. Они смеются. Они рыдают и плачут отчаянно . . . Это не голоса людей . . .

Воздух становится душен и тяжел. Ни малейшее дуновение ветра не колыхнет безжизненно повисших ветвей. Замолкают в испуге и звери таежные. Не сотрясает громовым рыком лесные дебри их грозный властелин, полосатый Ляо-Ху. Не шуршит в непроходимой чаще сухого валежника неуклюжий, но мощный бурый маньчжурский медведь — сердитый Хый-Шяза, единственный соперник тигра. Не кричит жалобно ребенком зловещая птица-филин. Молчат хоры зеленых гигантских жаб — обитательниц трясин и болот . . .

Вскоре от подземных толчков начинает колебаться таежная почва, и в непроходимых ущельях, закрытых от холодных северных ветров, среди сполохов синего небесного огня, распускаются пышным цветом стебли Корня Жизни. Всеми

целебными соками земли напоен корень Жень-Шень в этот час. Исцеление от всех болезней принесет он страждущему человеку. И счастье придет к искателю, не убоявшемуся в этот страшный час вырыть его белый, похожий на человеческую фигуру корень.

Тучи шли над землей, и сегодня на черном бархате ночных небес не мигали звезды. Гудел угрюмо ветер, сгибая верхушки деревьев. Необычно было вокруг. Ван-Ли слышал монотонное журчание струй ручья да неясные шорохи в глубине. Зверолов приготовился. Он сидел на камне у ручья и пристально глядел в темноту папоротниковых зарослей. Губы охотника шептали слова единственной молитвы, которой научил его Тай-Хэ. Ван-Ли ждал. Теперь скоро . . . Там, вон там, где разрослись прихотливо лапчатые веера папоротников и зеленые сочные листья лопухов, блеснет ослепительный свет. Этот свет и доведет Ван-Ли до белых скромных цветов Корня Жизни.

Загремели глухие раскаты близкого грома, и лучи молнии заполыхали в черных небесах. Первые капли дождя упали на Ван-Ли. Вдруг с неслыханной силой ударил громовой раскат, и широкий огневой Меч Небес просек мрак в нескольких шагах от задрожавшего Ван-Ли.

Где-то с вершин лесных скал с грохотом и гулом покатились оторванные камни. Казалось, земля заколебалась теперь. Ван-Ли вскочил; невдалеке, среди папоротников и лопухов, ярко сиял лиловый столп огня . . .

Опять неслышной, скользящей поступью быстро идет Ван-Ли. Опять тесно обступили его со всех сторон великаны-деревья. Прохладное утро загорелось недавно. И оранжевой полосой восхода полыхал зеленоватый небосклон навстречу охотнику. Верхи близких сопок Будур-Бара золотило раннее солнце.

Ван-Ли напевает в такт ритмичным шагам однообразный немудрый мотив. Молодой охотник доволен. Добрые духи

великого леса покровительствуют ему, верному сыну тайги. Они дали Ван-Ли возможность найти магический Корень Жизни. Даже не один... И не два... Целых шесть прекрасных янтарно-желтых и упругих корешков завернуты тщательно в промасленную тряпочку и лежат за пазухой его курмы на голой коричневой груди, там, где четко и ровно бьется горячее, сильное сердце. Много полновесных и звонких даянов дадут за них Ван-Ли в Лун-Киянге толстые аптекари в шелковых тяжелых халатах. Хищно засверкают их узкие, хитрые глаза за бронзовыми фигурными очками. Задрожат длинные, цепкие пальцы жадных рук при виде этих великолепных корней Жень-Шеня. Ван-Ли беззвучно рассмеялся... Зачем ему, сыну тайги, эти серебряные кружочки?.. Великий Лес бесплатно и щедро дает ему все от своих несметных, веками накопленных богатств. Но Ван-Ли все-таки должен продать свою находку и получить за нее много, очень много денег... Больше — лучше... Они нужны для того, чтобы он, молодой Ван-Ли, мог, как следует, почтить благую память о старом Тай-Хэ, своем названом отце.

Над могилой усопшего старца высоко вознесет причудливо изогнутые, многоярусные кровли свои — белый мраморный памятник. Славным зодчим закажет его Ван-Ли. Чтобы из драгоценного фу-чжоусского мрамора, прозрачного и девственно-белого, была изваяна усыпальница старца. Чтобы искусные резчики по камню покрыли все коньки и карнизы тяжелых кровель ее замысловатыми узорами из витых колец Священных Драконов. Сплетенные чешуйчатые тела этих Небесных Стражей окружат со всех сторон Вечный Цветок Лотоса. Позолочены будут его лепестки и ярко загорятся на солнце, на удивление восхищенным прохожим. Четыре тяжелых бронзовых доски, врезанные в мрамор стен, мудрыми изречениями Конфу-Дзы увековечат память о старом звероловe Тай-Хэ...

Дорогу Ван-Ли пересек извилистый овраг. По обеим сторонам его шелестели молодою листвой стройные березы с нежною, словно атласною корою стволов. Узкое дно оврага поросло яркою зеленью мха и было влажно от пробивающихся в разных местах подпочвенных вод. Гудели в тени тысячи комаров и мошкары. Перекликались неутомимые лягушки. Трещали в лад крупные маньчжурские певуны-кузнечики. Большой, уже зажиревший от обильной весенней пищи халлис свернулся красноватыми кольцами и дремал на тропе. Услышал шаги охотника, быстро вскинул ядовитую треугольную голову с двумя рогатыми отростками и, зашипев неприветливо, пополз лениво под обломок скалы. Мелкие, проворные лесные зверьки суетились невидимо для охотника по обеим сторонам оврага. Воздух был наполнен трещаньем и свистом влюбленных птиц. Пряно пахло цветами и травами. Солнце, пробиваясь через зелень деревьев, золотило пятнами мох под ногами Ван-Ли. За пригорком с треском ломился напролом, через мелкий кустарник и молодняк, упрямый Хый-Шяза. В небе, в синем и палящем зное, едва заметными точками кружили беркуты. Сильно пекло.

Ван-Ли сел на подшитую к шароварам шкуру бурундука и вытащил кисет с табаком. Часто сплевывая, наслаждаясь от души крепчайшим табаком, без мыслей смотрел Ван-Ли поверх окрестных сопок...

От неожиданного мощного удара в спину свалился охотник навзничь, лицом в сырую землю. От толчка зазвенело в ушах и дрожащими кругами-разводами забушевала кровь в висках. По волне горячего зловонного дыхания, которым его обдало, не понял — сердцем учуял Ван-Ли, что за беда с ним приключилась. И не шевелясь, уткнувшись лицом в мокрую траву, покорно ожидал конца... Очевидно, ранее попробовал человеческой крови таежный людоед, и поэтому он долго следил, скрадывая шаги свои, за неосмотрительным

охотником. Теперь, поверженный ниц, Ван-Ли с ужасом готовился к страшному единственному удару тигровой лапы, которым будет одновременно раздроблен его череп и сломан спинной хребет...

Холодный пот ручьями тек по загорелой шее охотника, капая на зеленый мшистый ковер...

Тигр медлил, играя с жертвой. Ван-Ли рискнул поднять голову. Изумление прогнало страх — в десяти шагах от него лежал, игриво развалясь на примятой траве, великолепный самец-тигр. Зверь лежал на одном боку, как большая и жизнерадостная кошка. Его морда, обращенная в сторону Ван-Ли, хищно скалилась, словно смеялась... Рыжие, холодные глаза зверя часто мигали зеленоватым светом. Белые, как тростниковый сахар, клыки показывали, что тигру было не более десяти-четырнадцати лун.

Но какой величины, какой мощности уже достиг молодой отпрыск грозных властелинов тайги... Его шкура, чрезвычайно красивой окраски, лоснилась, как намасленная. От носа до ушей шли вкось две черные полосы, придавая морде хищника какое-то горделивое, царственное выражение. При виде этих полос Ван-Ли опять уткнулся лицом в землю: перед ним лежал священный Ляо-Ху, тигр, порожденный от тигрицы и Духа Горных Дебрей. Горе смертному, которому выпадает недоля увидеть священного Ляо-Ху! Ван-Ли закрыл глаза и приготовился мужественно принять смертельный удар. Он слышал тяжелое сопение и вкрадчивое мурлыканье тигра, шелест сухих листьев и веток под тяжелым телом зверя.

В гнетущем и напряженном ожидании ползли секунды...

Могучий котенок приподнялся. Вытянул передние лапы и начал когтиться о толстую потрескавшуюся кору векового пня. Острые серповидные когти тигренка легко выдирали целые пласты мягкой, полуистлевшей коры, и куски ее долетали до охотника, больно ударяя его лицо. Затем, обчистив

и вылизав тщательно широкие и выпуклые подушечки своих лап, зверь занялся яростным выгрызанием насекомых. На охотника он, казалось, не обращал ни малейшего внимания, и Ван-Ли попробовал достать свой Винчестер, но ружье, выбитое толчком, лежало слишком далеко. Внезапно тигр упруго поднялся и лениво направился к Ван-Ли. Желтые и круглые глаза зверя, не мигая, пристально смотрели в глаза человека... Верхняя губа тигра поднялась и обнажила ряд страшных клыков. Прижав острые уши плотно к круглой голове, ощерясь хищно, зверь приблизился осторожно к охотнику.

Ван-Ли ощущал горячее, зловонное дыхание и видел явственно каждую шерстинку на его рыжей полосатой груди. Несколько раз тигр с силой ударил себя хвостом по бокам, начал обнюхивать лицо охотника. Влажный и шершавый нос зверя нестерпимо щекотал кожу Ван-Ли. Но, стиснув зубы, покрытый холодным потом, охотник лежал, не шевелясь...

Далеко, далеко за крутой горой, сплошь заросшей густой пихтой, пронеслось, прокатилось протяжно:

— О-о-о-уу-ээнннн!..

Стайка пестрых куропаток, шумя крыльями, порывисто сорвалась с ближайшей поляны.

Зверь поднял медлительно и царственно хищную прекрасную голову. Раздул трепетно ноздри и ответил таким же громовым:

— О-о-о-уу-ээнннн!..

— О-о-о-уу-ээнннн!..

И, сжавшись в упругий ком, желтой радугой мелькнул за кустарником.

Ван-Ли поднялся на колени и, не веря, слушал, как постепенно удалялся треск раздвигаемых кустов. Он спешно подобрал Винчестер и кинулся к ручью. Он знал, что, обнюхав детеныша, грозная пестунья сразу учует враждебный

человеческий запах, и тогда ничто не спасет зверолова от ее убийственных когтей. Он шел с полверсты вниз по ручью, разбрызгивая алмазные капли, спотыкаясь и проваливаясь по грудь в неожиданные ямы.

Местность пошла ровнее. Ван-Ли выбрал лужайку, полого спускавшуюся к ручью, и вышел устало на нее. По солнцу был полдень. До его ушей донесся ровный, едва слышный гул. За пригорком, совсем близко, раскатываясь многозвучным эхо, прогудел сипло и сердито паровоз.

Ван-Ли улыбнулся: железная лошадь русских. Значит, до Лун-Кианга осталось не более десяти ли.

2

Веселое, хмельное солнце гуляло звонким зноем по пыльным и кривым улицам Цицикара.

Жизнь города кипела, и Ван-Ли, после величайшего спокойствия тайги, шел, как в полусне.

В городском предместьи, где тесно прижались друг к другу глиняные фанзы бедняков и где на пустырях чернели кучи всякой гнили, охотника встретили унылым воем бездомные собаки-мусорщицы.

Они трусливо скалили свои волчьи морды и подходили к нему со всех сторон. Было нечто зловещее и жуткое в их крадущейся и неохотной поступи. Они подходили неслышно и дружно. Ван-Ли поднял серый обломок черепицы. Псы трусливо отступили.

Но один из стаи, наверное, вожак, старый и лохматый, с тихим урчаньем, выгибаясь дугой, медленно подползал к охотнику. Вся стая замолкла, чего-то ожидая и обратив гноящиеся, тусклые глаза на Ван-Ли.

Внезапно старый пес предательским, молниеносным прыжком кинулся на зверолова. Ван-Ли метко ударил его в

лоб. Пес заскулил жалобно, упал на брюхо и, оставляя кровавый след на земле, пополз к стае. Та поджала хвосты и неохотно отступила в стороны. В мутных глазах, неотрывно смотревших на Ван-Ли, было много голода, страха и смертельной, непримиримой ненависти.

Охотник вступил в более заселенную часть города. Попадались большие фанзы из серого кирпича, вычурно изукрашенные кумирни. Лавки крикливыми, яркими вывесками настойчиво предлагали свои разнообразные товары.

Улицы были замощены тяжелыми гранитными плитами. Горожане занимались повседневными делами, и никто не обращал внимания на загорелого, бедно одетого охотника. На скрипящих неуклюжих арбах с многопудовыми, толстыми колесами, щелкая длинными ременными бичами, окрестные крестьяне везли желтые плотные круги жмыхов и тюки воловьих и бараньих шкур на рынки. Их тянули рослые злые мулы, запряженные гуськом, по два в ряд. Испуганные непривычным городским шумом, они нервно поводили длинными ушами и, косясь кровавыми белками, норовили лягнуть неосторожного прохожего. Ругань погонщиков, бренчанье железных трещоток уличных продавцов, свист и шипенье громадных жестяных самоваров, визгливые звуки скрипок нищих-музыкантов, стук ножей и посуды в открытых харчевнях, остервенелые крики зазывал и торгующихся, — все это сливалось для Ван-Ли в один общий сумбур. Охотник инстинктивно старался держаться как можно ближе к стенам, и его внимание было направлено целиком на то, чтобы не быть сбитым с ног этим мятущимся людским потоком.

Толпа вынесла Ван-Ли на одну из главных улиц города. Здесь возвышалось много высоких домов с позолоченными, ярко раскрашенными вывесками. Народ здесь шел медленнее в чистых и богатых одеждах. Мягко шаркая ногами, пробегали рикши, везя за собой легкие лаковые повозки.

Заплывшие жиром купцы в шелковых длинных халатах, заложив руки в рукава, спесиво выставляли животы вперед из дверей своих магазинов и презрительно смотрели на оробевшего Ван-Ли. На углах движением и порядком управляли полицейские в черных мундирах с длинными бамбуковыми дубинками в руках. Один из них привычно и ловко ударил охотника концом бамбука между лопаток, советуя ему, «сыну черепахи и деревенского ублюдка», держаться стороны. Ван-Ли втянул голову в плечи и смущенно скрылся в толпе.

Группами по несколько человек часто встречались странные маленькие человечки в желтых суконных формах и круглых железных шапках. Остро и серьезно смотрели их узкие глаза, а движения были четки и размеренны. В руках они держали короткие уродливые ружья с навинченными плоскими и широкими копьями.

Толпы народа вливались из боковых улиц на большую площадь, где, обнесенный высокой гранитной стеной, стоял дворец губернатора — дудзюна. Над ним колыхался белый флаг с красным кругом.

Ван-Ли испуганно озирался. Ему захотелось уйти с площади. Его толкали со всех сторон. Стало тихо. Ван-Ли заметил, что окружавшие его люди говорили вполголоса и странно на него смотрели. Ван-Ли услышал часто повторявшиеся слова:

— Солдаты Ниппона!.. Маленькие... а прогнали больших русских... Сила!.. Много оружия!

Какой-то горбун-иорга, с пятнистым от проказы лицом, сплюнул:

— Дети дьявола!.. Недоношенные обезьяны!.. Да возьмет дурная болезнь их матерей!..

Со стороны дворцовой ограды раздалась громкая музыка. Сверкая медью ярко начищенных труб, твердо отбивая шаг, из ворот вышло много низкорослых, похожих друг на друга солдат. Они мерно колыхали ружьями, и лица их, как и лица тех, кого Ван-Ли встречал ранее, были неподвижны и строги.

За солдатами из ворот, на высокой, не местной лошади, выехал всадник. Желтые ремни крестом перетягивали его грудь и спину. Он что-то резко крикнул. Солдаты сбросили ружья и выстроились длинными рядами вдоль ограды. Всадник же ехал прямо на толпу. Смотря поверх голов людей, замерших в ожидании, он, не торопясь, вытянул из-за пояса большую бумагу. Ван-Ли видел, совсем рядом, его плоское, каменное лицо, с колючей седоватой щетиной усов. Он взмахнул ременным кнутом и, весь напружившись и покраснев, на хорошем северном наречии начал выкрикивать странные слова:

— Я!.. полковник Итто Кобаяши!!! Победоносной армии Ниппона... именем его величества императора и микадо Хирохито... объявляю город Лун-Кианг на особом положении!.. Лица, повинные в... будут расстреливаться!.. Лица, уклонившиеся... будут караться смертью!.. Лица, не сдавшие... расстреливаться!.. Великая Ниппонская империя... милостива и великодушна к подчинившимся... но безжалостна и сурова к...

Ван-Ли услышал слабый стон. Рядом с ним, прижав крепко к груди побелевшие руки, стояла молодая девушка в китайской одежде, но европейских башмаках. Она пристально смотрела мертвыми, неподвижными глазами на всадника.

Вдруг она рванулась вперед к всаднику. Его конь, захрапев, поднялся на дыбы. Толпа закричала, и люди закружились, как в быстринах стремительной горной речки.

Девушка подняла руку. Ван-Ли услышал выстрел. Ван-Ли видел, как полковник закрыл голову руками и свалился с лошади в обезумевшую от страха толпу.

Солдаты вскинули ружья. Люди стали падать. Девушка упала первой. Солдаты выставили копья на ружьях вперед и пошли на воющую толпу. Ван-Ли побежал. Что-то ударило его, как палкой, по голове, и он больше ничего не помнил.

Он проснулся в темной и сырой яме. Свет попадал внутрь через решетку в потолке. Кругом лежало много других людей. У некоторых головы были завязаны тряпками с красными пятнами. У Ван-Ли болела голова. Он потрогал ее. Его рука стала мокрой. Это была кровь. Он обернул рану тряпкой, как мог. Ему захотелось пить. Воды не было. Его сумка осталась при нем. Ван-Ли отвязал ее, достал табак и трубку, сел на корточки и закурил, морщась от боли в голове.

Скоро солдаты отворили дверь и начали прикладами выгонять всех на внутренний двор. Солдат с тесемками на рукаве ударил Ван-Ли по шее кулаком и схватил его котомку. Ван-Ли потянул ее обратно к себе. Тогда другой солдат приставил свое копье к его груди, и Ван-Ли покорился.

Два солдата ввели его в комнату, где за большим столом сидел и быстро выводил кисточкой прихотливую вязь иероглифов толстый, коренастый человек в золотых очках, с круглой головой.

Ван-Ли сразу догадался, что это был очень большой начальник: на его груди висело много всяких ленточек и кружков, а на плечах блестели золотом узкие поперечные полоски.

Солдаты, введшие Ван-Ли, звякнули ружьями и встали, как каменные, по обеим сторонам его. Большой начальник продолжал набрасывать черные, непонятные знаки. Он не поднял головы, не посмотрел на Ван-Ли.

— Мудрый человек . . . Ученый человек . . . — почтительно подумал он. — Старый Тай-Хэ говорил, что изучившие успешно науку письма могут беседовать с богами и перенимать крупицы их мудрости . . . Таким людям нужно оказывать почтение и повиновение . . .

Ван-Ли прижал руки к груди и склонился в земном поклоне. Начальник не посмотрел на него. Он все водил кисточкой. Ван-Ли терпеливо ждал, из вежливости задерживая дыхание.

Начальник внезапно бросил кисточку и снизу вверх посмотрел на Ван-Ли. Его глаза за блестящими стеклами были похожи на глаза ночной птицы филина. Они неподвижно и остро смотрели в глаза охотника. Ван-Ли опять поклонился.

Большой начальник хлопнул ладонью по столу и сердито закричал по маньчжурски:

— Не смей опускать голову, сын свиньи! .. Смотри мне прямо в глаза! Говори, собачье отродье, кто убил полковника Итто Кобаяши ? .. Кто ты сам? Почему у тебя нашли американское ружье ? .. Ты разве не знаешь, что, по приказу командования непобедимой ниппонской армии, все мирные жители государства Маньчжу-Го должны были сдать все оружие в трехдневный срок ? .. Ты .. хунхуз ! .. Повстанец ! .. Отвечай ! ..

На краях губ начальника пузырьками выступила слюна. Он задохнулся.

— Солдаты ! .. Что у него в сумке ? .. Открыть ее ! ..

Солдаты торопливо вытряхнули все из котомки на пол. Начальник сквозь сжатые зубы со свистом втянул воздух. Он тонким, злым голосом опять закричал на растерянного Ван-Ли:

— А, это что ? .. Сын свиньи ! .. Зачем у тебя так много патронов ? .. Говори ! .. Хунхуз ! .. Бунтовщик ! .. А, кто вчера застрелил двух ниппонских солдат на базаре, у харчевни ? ! .

У Ван-Ли похолодело все внутри и он упал на колени. Солдат толстым, кованым сапогом ударил его в лицо. Из-под повязки крупными черными каплями снова засочилась кровь. Большой начальник громко засмеялся и показал острые, длинные зубы. Где Ван-Ли видел такие зубы ? .. Да ... там, в тайге, вчера, когда грозный Ляо-Ху смеялся над ним, играя его жизнью ...

Ван-Ли часто закланялся, прижимаясь лбом к холодным плитам пола. Сказал тихо и покорно, так, как учил его старый Тай-Хэ разговаривать с почтенными и учеными людьми:

— Пусть не сердится, не обижается на меня, рожденного в невежестве, высокочтимый начальник... Да будет ему известно, что я всего лишь простой охотник за Корнем Жизни и зверями таежными... Ван-Ли зовут меня недостойного... Я только вчера пришел в город за припасами с гор Шулигеба, где прожил всю зиму и весну... Я охотник, а не хунхуз и не бунтовщик... Стреляю зверей на шкуры и пропитание свое. Ружье мне нужно; без ружья охотнику не прожить и часу в дебрях Великого Леса, где правит грозный Ляо-Ху, властелин таежный... Вот, если милостивому начальнику угодно взглянуть...

Ван-Ли торопливо вытянул грязную тряпку из-за пазухи.

— Вот... Вот, высокоуважаемый начальник, патент на право добычи священного Корня Жизни — Жень-Шень!.. За подписью и печатью его превосходительства губернатора Лун-Кианга. Патент не просрочен. Его в прошлом году взял на мое имя мой названный отец, старый Тай-Хэ, чувствуя приближение Вечных Врат... Я еще имею четыре года сроку... Пятьдесят серебряных даянов уплачено было его превосходительству, чтобы ненарушимой подписью и печатью своею он скрепил патент. Вот и печать... Вот она...

Ван-Ли осторожно водил пальцем по красному витому квадрату казенной губернаторской печати.

— А если высокочтимому начальнику угодно взглянуть..

Ван-Ли на коленях подполз поближе к столу и разложил у ног в желтых сапогах, с железными колесиками на задниках, все шесть корней Жень-Шеня.

— Моя добыча... Вчера, в ночь первого летнего месяца, добрые Духи Гор послали ее мне, недостойному. За каждый из них охотно дадут лекари не менее двух тысяч серебряных

даянов. Если высокочтимый начальник соблаговолит, — Ван-Ли выбрал самый лучший, самый плотный из корней и, бережно обтерев его рукавом курмы, робко положил на край стола.

— Мое скромное приношение мудрому начальнику от меня, Ван-Ли, охотника за зверями и Жень-Шенем...

Ван-Ли еще раз коснулся лбом пола и почтительно замолк.

Скривился презрительно начальник. Он встал. Несколько раз прошелся по комнате, щелкая коваными каблуками по каменным плитам. Повернулся к окну, раскачиваясь на носках. Негромко, через плечо, бросил властно:

— Хорошо... охотник!.. Хорошо, верю тебе... Рядовой Ватанабе!

Солдат брякнул прикладом.

— Отведите немедленно пленика за город и выпустите его!.. Совсем!.. Как других...

Обернулся к Ван-Ли, который собрался было забрать корни и котомку, и сказал, показав тигровые зубы свои в скупой улыбке:

— Ну, иди... Иди, охотник... Корни оставишь здесь... как доказательство... Я проверю... Потом их получишь обратно... Когда опять придешь... Теряя терпение закричал:

— Иди!!! Скорее!..

Когда за ними закрылась дверь, долго смотрел желтыми глазами на белую известковую стену. Разминаясь, несколько раз присел на корточки. Сопя, поднял корни. Бережно завернул их в тонкую шелковую бумагу и бросил в ящик стола. С треском повернул ключ в тугом замке.

Достал пачку толстых японских сигареток. Туго задернул под подбородком ремни стального шлема и, сильно затягиваясь сероватым дымом, выпятив грудь, твердо вышел на двор.

Ван-Ли солдаты вели за город по кривым и узким улицам. Они шли медленно, лениво отбивая шаг. Курили короткие, вонючие сигареты. Изредка косо поглядывали на Ван-Ли и, смеясь, говорили что-то на быстром птичьем языке. Ван-Ли шел, стараясь идти с ними в ногу, сдерживая свою быструю, скользящую поступь.

Опять было утро. Красное солнце стояло невысоко над горами Шулигеба. Ван-Ли вдыхал глубоко утреннюю свежесть. Его голова слегка кружилась. Он не понимал, зачем его провожают солдаты. Но, видно, начальник хотел, чтобы Ван-Ли по дороге не тронули другие воины Ниппона. Он думал: по приходе к себе в хижину придется достать ружье Тай-Хэ, старый русский бердан, и основательно его вычистить и смазать. За корнями же он придет, примерно, через месяц, как приказал начальник. Ему же принесет в подарок шкуру соболя. Ученый человек. Умный человек . . . Да . . .

Они дошли до свалки, которую Ван-Ли проходил вчера. Псы были все там же. Они лежали неподвижно в тени. Услышав шаги, нехотя, один за другим, начали подниматься. Старый вожак пес был среди них. Он посмотрел Ван-Ли прямо в глаза. Пес узнал его. Широко открыл клыкастую, волчью пасть и со стоном длительно зевнул. Все псы понуро и тихо, как и раньше, начали подходить полукругом к ним. Солдаты замолчали и остановились. Ван-Ли не понимал, зачем. Но когда солдаты, бросив докуренные сигареты, лениво начали снимать ружья, тогда . . . О, тогда Ван-Ли понял ! . .

Незабудка

Дорогой матери моей
посвящаю.

Сегодня была свежая погода в гавани Золотых Ворот, и старик-океан седыми волнами своевольно гулял по заливу.

Крейсер Императорского Российского Флота «Владимир Мономах», на тихом ходу, широкой белой грудью лениво раздвигал пенную зеленую воду.

Капитан первого ранга Иван Оттович Ван-Кессель-Реннард, натягивая белые перчатки, неторопливо вышел из рубки на мостик.

Сегодня, выкатываясь из-за далеких волнистых облаков, в какой-то необычной кроваво-оранжевой дымке плавало раннее низкое солнце.

Переход от Гаваев был тяжелым, но сейчас праздничные загорелые лица вахтенных довольно щурились на полыхающие восходом небеса.

Тихо проплыли назад обрывистые скалы Президио, и вдалеке, в дрожащей синеве неожиданно выступило каменное лицо Сан Франциско.

В каюте было душно. Мичман Елагин отнял плоское лезвие бритвы от щеки и посмотрел на себя в зеркало. Оно равнодушно отразило в своей глубине его бледное большеносое мальчишеское лицо, кажущееся еще бледнее под спутанной шапкой темных влажных волос.

Мичману вдруг захотелось, кривляясь, показать себе издевательски язык. Он задохнулся, терзаясь, и впился ногтями в гладкую выбритую щеку. Выступила капля крови из прокушенной губы, и злые непрошенные слезы покатились градом из глаз.

Елагин воровски оглядел каюту, стараясь не замечать черного лакированного чехла казенного нагана.

Он с отвращением утерся вышитым нянькой полотенцем. Красная вязь шелковых славянских букв — «Ненаглядному моему Андрюшеньке» — заставила вновь, от мучительной жалости к самому себе, перекоситься лицо Андрея.

Он вспомнил сейчас легкое, едва осязаемое прикосновение материнских пальцев к своему подбородку и лбу... Пальцев матери, но не той — другой... Та никогда не коснулась его лица своими холеными, струящими вкрадчивый запах неведомых духов, руками музыкантши.

И теперь из литой серебряной рамки смотрят на него надменно и чуть насмешливо ее грешные, но прекрасные — да, действительно, прекрасные — глаза.

И, стоя у зеркала, вспомнил Андрей в эту минуту и представил себе с непостижимой ясностью тот последний, позорный для него вечер в Синявках, родовом имении дяди-адмирала.

Была ранняя и торжествующая весна тогда под Киевом. Расцветал месяц май, и по ночам в спутанной чаще сирени, изнывая в любовной истоме, неудержимо щелкали соловьи. Медлительный Днепр переливался червонной лунной дорожкой далеко внизу, под обрывом, и в прадедовской аллее столетние дубы молодой листвой тихо шептались между собой о чем-то невозвратном.

Было безудержно весело той весною в Синявках.

Молодая красавица-адмиральша ни на минуту не желала забыть вихревой угар столицы.

Была и причина веселью к тому же: старик адмирал широко справлял возвращение сына из японского плена.

На огневых просторах Ляодунских полей ранило тяжело в нижнюю полость живота ротмистра Игоря Елагина. После десятимесячного плена на далекой Формозе, проведенного, большею частью, на белой госпитальной койке, — вернулся на родину неузнаваемым Игорь.

Но той ночью для него блистал всеми окнами старый растреллиевский дворец, и в белом колонном зале кружились самозабвенно до первых бликов зари юные пары, выносясь, будто бы и не нарочно, под плавные волны Штрауса в тихий лунный полумрак овального балкона.

На резных алебастровых хорах, до утра, сердитые раскрасневшиеся усатые трубачи ближнего кавалерийского полка зло выцеживали слюну из нагретых инструментов и на носках, скрипя начищенными сапогами, часто выбегали в соседнюю боскетную, чтобы, запрокинув далеко назад голову, хватить наспех полную чарку ожигающей хмельным пламенем старки.

А во время полуночного пира, за обеденным столом, Андрей, сидя рядом с двоюродным братом, нередко ловил его недобрую кривую усмешку. Видел, как бледнел Игорь и как все ниже и ниже склонялась его белокурая голова.

А его мачеха лишь изредка с обидным сожалением смотрела на бывшего ротмистра, и ее пылающая щека едва не касалась губ нагнувшегося к ней знаменитого баритона.

Видел Андрей бокал, поднятый небрежно холеной, сверкающей бриллиантовым перстнем, рукой артиста.

Слышал пропетые тем негромко, известным на всю Россию голосом, слова:

«За милых женщин!
Прелестных женщин!
Улыбкой страсти —
Чарующих нас!..»

Заметил, словно прозрев, как неожиданно окаменела на кованом серебре стопки рука Игоря, и услышал его ненавистные нехорошие слова о «бессарабском соловье-разбойнике» и... «Елене Прекрасной».

Продирался Андрей после через душистые сиреневые кусты, сыпавшие прохладные капли ночной росы на его горящее стыдом лицо.

А два темных силуэта, тесно прижавшись друг к другу, шли впереди его по отдаленной запущенной аллее.

И потом, там, над обрывом, над призрачным неясным Днепром, видел Андрей те же два силуэта, слившихся в тесном объятии на каменной скамье... Слышал нервный прерывистый смех ее и бархатный, чуть картавящий, наигранный голос его...

Мелькнули две огненные точки докуренных папирос, и опустела каменная скамья, извечная свидетельница счастливых мгновений любви в душистом глухом уголке над широкой рекой.

Под утро Андрей, ни с кем не простившись, уехал в далекий, белыми ночами разбуженный Петербург.

Там, через неделю, в Адмиралтействе, в неуютном кабинете старика Елагина, Андрей, стоя на вытяжку, упорно смотрел на серый мореный дуб письменного стола. Стараясь не видеть суровых ищущих глаз дяди, не слышать сухую нервную дробь его костлявых старческих пальцев, — мичман попросился в долгое кругосветное плавание.

*

Уже зашло солнце, и на зеленом небе блеснули первые звезды, когда Андрей и его друг проходили по пьяной и разнузданной Баттери Стрит. Здесь еще пахнул солью и рыбой океан, и терпким запахом специй напоминал о себе Дальний Восток.

Черноусые и белозубые рыбаки-итальянцы нахально-веселыми улыбками провожали молодых людей.

Призывно ожигали глазами и смеялись им разодетые в шелк и бархат женщины у широких, никогда не запирающихся дверей-калиток баров.

Цокали подковами по асфальту копыта лошадей наемных кэбов, и изредка, обдавая противным синеватым дымом бензина, трескуче и дрожаще проползал высокий надменный автокар.

Здесь шатались разгульные толпы матросов, и на перекрестках улиц двухсотфунтовые полисмены-ирландцы, подбоченясь, деловито поигрывали своими дубинками.

С севера потянул свежий ветерок и заколебал пламя газовых светилен в руках глиняных индейцев, застывших неподвижно у витрин табачных лавок.

Навстречу молодым людям, из распахнутых настежь окон танцевального зала, неслась легкомысленная и кокетливая полька.

На углу мигающей лампочками Эдисона широкой и прямой Маркет Стрит на всех гранях рекламного киоска бросались в глаза кричащие строки театральных афиш:

«Tivoli Opera House... To-night ! ! ! And only to-night ! ! ! Gala performance ! ! Carmen ! ! ! With Enrico Caruso ! ! ! Olivia Fremstadt ! ! !»

У неуклюже-массивного здания начинали собираться ранние посетители и, очевидно, давно уже колыхалась длинная гусеница очереди. Но вежливо приподнял цилиндр неожиданный перекупщик, и через минуту молодые люди входили в мраморный простор главного вестибюля. Из зрительного зала, заглушенная малиновым бархатом портьер, уже доносилась обычная назойливая предоперная какофония настраиваемых инструментов оркестра.

Друзья, влекомые людским потоком, очутились перед полированной панелью бесконечного бара. Здесь, сродненная

алкоголем, тесно, плечо к плечу, стояла у бронзовых поручней стойки разношерстная, шумная и гулливая толпа.

Здесь рядом с утонченными и пресыщенными дэнди в черных накидках, подбитых белым атласом, стояли рослые загорелые миллионеры-фермеры и ковбои из недалеких городков Салинас и Монтерея. Сдвинув на подбритые затылки стодолларовые белые стетсоны и метко сплевывая темный сок табачной жвачки в чеканные серебряные урны, — они, намеренно не признавая аляповатой кабацкой роскоши бара, царапали вычурными мексиканскими шпорами зеркальное розовое дерево стойки и небрежно швыряли золотые на залитый мрамор бара.

После монотонных дней в голубой беспредельности океана, наравне с ароматным пламенем коньяка, хмелила молодых людей и непривычная, тоже хмельная, незнакомая, но приветливая и дружелюбная американская толпа.

И вскоре, незаметно как-то, окруженные веселыми и шумными людьми, Андрей с другом, смеясь, пили за здоровье «Тедди Рузвельта и Русского Царя».

И уже, ласково полуобняв за плечи Елагина, приглашал его к себе в пригородное поместье неизвестный юноша в безукоризненном фраке.

Но донеслись первые бравурные звуки увертюры, и Джэк Стоддарт, так звали нового знакомца, оставив Андрею визитную карточку, исчез в толпе, заполнявшей широкую подкову тонущих в дрожащем полумраке лож.

Быть может, повинен был в этом алкоголь, а может быть — и эта знойная испанская сказка Любви и Ненависти, но Андрей, полузакрыв глаза и откинувшись в кресле, с непостижимой ясностью увидел опять перед собой ее у блистающего черною глубиною рояля. Заметенный искрящимся снегом, виделся ему сквозь стекла венецианского окна белый и суровый прадедовский парк, и косые лучи низкого солнца играли золотом в ее пепельных волосах. А пальцы ее точе-

ных, обнаженных до плеч рук порхали над послушным рядом клавишей. Профиль ее лица, надменный и четкий, слегка поднятый тяжелым узлом русых кос, навеки врезался в памяти Андрея и сейчас снова грезился ему...

Закончился первый акт. Зал вспыхнул белым электрическим светом. С усилием ловил Елагин слова друга: «Вон там... В средней ложе... С этим... ну, как его... да Стоддартом...» Щурясь, Андрей обводил рассеянно глазами бархатный полукруг выпуклых лож. У барьера одной стоял, улыбаясь всем своим открытым румяным лицом, их новый знакомый. Свесив небрежно запястье маленькой ручки с вишневого бархата, смотрела на него через блестящие стекла бинокля девушка, ослепительную белизну обнаженных плеч которой не скрывал мех горностаевой накидки.

Во время антракта, в фойе, Джэк Стоддарт подвел молодых людей к своей сестре. Так началось знакомство Андрея с Марией-Долорес Стоддарт...

После оперы белый рысак Стоддартов незаметно домчал молодежь до океана, плещущего ночным прибоем о крутые скалы, на плоской вершине которых горело огнями ажурное здание ресторана.

Здесь на застекленной веранде играл струнный оркестр смуглых неаполитанцев.

Внизу, в глубине, как и тогда, там в Синявках, переливалась в океане изменчивая лунная дорожка.

Не обращая внимания на веселые и насмешливые взгляды молодого Стоддарта и приятеля, кружил Андрей стройную ласковую Марию-Долорес, легко и свободно положившую нежную ручку на его мичманский погон.

Уже серел предрассветной мглой безоблачный небосклон, и с океана надвигалась холодная стена тумана, когда застоявшийся и поэтому сердитый красавец «Стэппи» рысью нес молодых людей обратно к широкой и прямой Ван-Несс авеню.

Полуобняв склонившуюся к нему Марию-Долорес, чувствовал Андрей биение девичьего сердца, и щекотал его щеку ее пахнувший ландышами развивашийся локон.

*

В разгульном шумном «Одеоне», потягивая колющее ледяными иглами шампанское, друзья смотрели на стройные женские ноги, дразняще мелькавшие из-под черного кружева юбок танцовщиц ревю в зажигательном темпе канкана.

Смотря на играющее вино, Андрей вспомнил темные ласковые глаза Марии-Долорес, заглянувшие, кажется, ему прямо в самую душу. Поэтому, когда расставались они неохотно у бронзовых дверей отеля Сан-Франциис, Андрей дал слово часто бывать в «Альта Каза» — поместьи Стоддартов, в недалеком душистом Валлемаре.

Покачиваясь на высоких каблуках, шурша красным шелком туго обтянутого на бедрах роскошного платья, у их столика остановилась женщина с ярким чувственным ртом.

Глядела дерзко на Андрея подведенными миндалевидными глазами незнакомка и, слегка картавя, шутливо и немного высокомерно спросила:

— Permettez-moi... messieurs?..

Дразнила и жгла сознание Андрея доступная и тесная близость этого красивого женского тела.

Положив ногу на ногу, показывая белую полоску тела выше колен, среди черной кружевной пены юбок, Ирма властно положила полные руки в бриллиантовых браслетах на плечи Андрея и неожиданно прильнула горячим ищущим ртом к губам Елагина...

Бледное небо начало розоветь на востоке за лиловатой полосой холмов Окланда. Но еще были видны последние звезды, и город еще не начал просыпаться.

В утренней ленивой тишине ясно и четко разносились во все стороны кованые неторопливые шаги старой лошади наемного кэба.

В уютной кожаной глубине его на коленях Андрея и его друга две женщины полулежали, утомленно закрыв глаза.

Старый, видевший все виды философ-возница сдвинул назад свой цилиндр и, забыв про потухшую сигару, неведомо чему улыбался беззубым ртом в пространство, навстречу встающему солнцу.

В темной арке тяжелых дубовых ворот мавританского особняка Ирмы, у подножья крутого и высокого Ноб-Хилла, она опять порывисто и страстно, всем своим гибким телом прижалась к Андрею и бросила ключ подруге.

В розоватом утреннем небе из-за высокой каменной ограды тенистого сада вырисовывались голубым кружевом силуэты колеблемых ветром деревьев. Пахло свежей влажностью отдохнувших за ночь растений.

Ирма припала опять губами к горячему рту Андрея. Перегнувшись назад в его руках, она нетерпеливо и повелительно кинула подруге:

— Скорее ! . .

*

. . . Страшно и необъяснимо стихийно заколебалась земля . . . Пошатнулись, оседая, стены дома и, как картонная, рваным зигзагом распалась поперек каменная ограда сада, взметнув вверх желтый столб пыли . . .

Казалось, — чудовищные складки кожи ползли во все стороны по вздыбленной земле, и крыши соседних домов по обеим сторонам улицы стали проваливаться с грохотом внутрь крошащихся, распадающихся стен . . .

Уже не было садовой ограды, лежащей теперь грядой растолченного кирпича и извести . . .

Как в бредовом сновидении, осыпая молодою листву, причудливо кренились и с сухим треском падали сломанные деревья, взметывая высоко в воздух спутанные змеи своих корней...

Нарастал и ширился со всех сторон многоголосый отчаянный людской вопль. В нем грубые и хриплые мужские голоса сливались в беспредельном ужасе и безысходной тоске с высоким тонким стенанием потерявших волю и сознание женщин-жен и женщин-матерей...

У ног Андрея земля с шуршанием раздвинулась, раздалась в обе стороны, и неожиданная темная могила-ров, неизведанной глубины, гибельной стрелой стала вонзаться вдоль улицы, разрезая на своем неотвратимом пути лопавшиеся, как перетянутые струны, трамвайные рельсы, скалывая и круша углы многоэтажных зданий.

Андрей подхватил на руки дрожащую Ирму, но бежать было некуда. Некуда было и спрятаться — крова и стен не стало. Внезапно Ирма запрокинула странно покрасневшее, необычно сразу осунувшееся лицо, и хриплый лающий смех ее овеял все существо потрясенного Елагина холодным отчаянным ужасом.

Она впилась острыми ногтями, неожиданно, в залившееся кровью лицо Андрея.

Оставив женщину, бившуюся на колеблющейся земле, он последним усилием своей воли старался победить надвигавшийся на него темный животный страх.

По бывшей улице, навстречу Андрею, неслась обезумевшая толпа людай. Впереди же всех бежала, быстро, быстро перебирая ногами, совершенно голая старуха. Андрей навечно запомнил седую гриву ее спутанных колтуном волос и ее голубые, почти белые выкаченные глаза. Елагин видел, как запнулась она о скрученный штопор трамвайного рельса и грохнулась на землю, а человеческое стадо не замедлило

своего стремительного бега и пронеслось по ее трепещущему в луже темной крови телу.

Андрей искал глазами Ирму, но у ног его поползла, осыпаясь вниз, земляная воронка. Почти равнодушно Андрей увидел, как противоположная сторона ее своим, струящимся в жуткую неизвестность глубины, текучим краем зацепила лежавшую ничком Ирму.

Сначала едва заметно, затем все ускоряя неизбежность движения, тело женщины скользнуло вниз головой в земляную струящуюся бездну . . .

Ревели бешено вдоль пылающей улицы высокие столбы воды из лопнувших гидрантов. По накаленному воздуху, как в урагане, носились пламенные головни, оставляя за собой искрящийся след золотых искр.

Утомленные страхом люди уже не бежали, но шли, будто бы и равнодушно, вдоль обнесенных огненными стенами улиц.

Эти стенающие, ужасом бедствия овеянные, покрытые сажей и кровью толпы вливались стихийно из узких коридоров дымящихся улиц в сады и парки, свежую листву деревьев и траву лужаек которых уже иссушил нестерпимый жар чудовищного пожара.

Толпа вынесла Андрея на просторный квадрат Юнион Сквера.

На вытоптанных цветочных клумбах, на смятых газонах сидели, сгорбившись на узлах жалкого своего скарба, и лежали вповалку измученные отчаянием люди.

За короткие секунды мучительных судорог земли этим утром потеряли они в стремительном и страшном пробеге времени и близких и все то, что было целью и стремлением их жизней.

На скорбный и сумбурный этот лагерь смотрела, зловеще поблескивая и отливая кровавым заревом Большого Пожара, десятками глаз-окон мрачная громада отеля Сан Францис.

Железобетонное и кирпичное здание не поддавалось сильному жару огненного моря, с ревом бушевавшего вокруг. Но из распахнутых настежь резных дверей выплескивался на улицу беспрерывный поток полуодетых гостей и жильцов.

Здесь, в этой растерзанной толпе богатых, так же, как и в той, плебейской, на дымных улицах, — неудержимо и пронзительно-дико кричали полуголые женщины, цеплявшиеся отчаянно за руки своих мужей и любовников.

И эта толпа, так же, как и та, уличная, наступала в дверном тесном проходе на трепетавшие, драгоценностями унизанные голые руки молодой женщины, бившейся в истерике под их ногами.

В урагане и треске пламени чаще и чаще слышался звон лопавшихся от его жара зеркальных окон-витрин богатых магазинов, с трех сторон неполным прямоугольником обступивших Юнион Сквер.

И теперь, никогда не унывающие в лихорадке пьянства, нигде не теряющие своей заветной мечты об алкоголе, серые кучки оборванцев — совсем с другой стороны города, из ночлежек и притонов Третьей Улицы — начали незаметно и вначале робко скапливаться у дымящихся магазинов и жаться к проемам их окон, скалившихся насмешливо осколками лопнувших стекол и влекущих стихийно к себе стройными, еще нетронутыми, рядами сотен бутылок.

И вот, как в атаку на злого врага, низко пригнувшись, серые ватаги бродяг дружно вступили в дымные недра уже раскаленных магазинов, и в жадные, широко открытые рты, булькая, полилась пламенная, веселящая жидкость.

С востока незаметно приползли тяжелые гряды низких фиолетовых туч. Пронесся резкий порыв морского ветра. Он нагнул и раздвинул в стороны дымные огненные стены. И первые крупные капли холодного дождя зашипели в червонном золоте углей пожарища.

Теперь кипела в сумбурном веселье пьяная чернь на вытоптанной траве Юнион Сквера. Бродяги стихийно и дружно справляли сумасшедшую тризну по гибнущему городу.

Андрей с непонятным спокойствием холодными глазами смотрел на этот огненный пир оборванцев, по воле бушующей земли вновь сравнявшихся со всеми.

Как в бредовом маскараде, кривлялись и прыгали пьяницы, напялившие на себя хвостатые фраки и продавленные цилиндры из разграбленного и уже сгоревшего магазина.

Взявшись за руки, они колыхались в длинном хороводе вокруг пьяного оркестра. Сидя верхом на покосившемся в одну сторону, неведомо откуда явившемся пианино, повелительно и картинно управлял музыкантами рыжий гигант с разбитым посиневшим лицом. Он взмахивал пустой бутылкой с профессиональной, плавной грацией опытного дирижера, бывающей лишь у больших и талантливых музыкантов. Бледный же красавец, в скорбных и сардонических складках порочного рта которого змеились предательство и сама смерть, не отрывал глаз от веселого и разгульного лица медноволосого гиганта, и пальцы его нежных и холеных рук, послушно повинуясь ритмичному приказу того, рвали струны гитары, и она, тоже послушная им, рыдала, вторя чьему-то металлическому, сильному тенору, потрясающе необычному в сухом треске пожара:

«I had a dream the other night, when ev'rything was still:
I thought I saw Su-san-na, a-coming down the hill . . .»

Где-то с грохотом провалилась крыша догорающего здания, и придавленное, но освобожденное теперь пламя с ревом, рассыпая звездный хвост трещащих кровавых искр, полыхнуло к серым, секущим косой сеткой дождя, низким и равнодушным небесам.

И с пламенем взметнулись кверху неожиданно дружным и страстным припевом сотни мужских и женских голосов:

«Oh, Su-san-na, oh don't you cry for me,
For I'm goin' to Loi-si-a-na, my true love to see...»

Последние капли прошедшего стороною весеннего ливня все еще изредка падали в рдеющие угли догорающих зданий. Сквозь сизые дымные тучи пожара проглянула ласковая синева утреннего неба, и солнечные лучи заиграли вместе с багровым отблеском пламени в неглубоких лужицах на дорожках парка.

Елагин бессознательно поднял воротник промокшей тужурки и напрямик, ступая по приятно-холодноватой дождевой воде, пошел сам не зная для чего, к угрюмо вздымающейся среди ревущего пожара темной громаде отеля Сан-Францис.

Гудел тысячеголосый говор в этом, с невероятной быстротой выросшем, лагере людей, нашедших в парке сравнительную безопасность посреди бушующего огненного моря.

Не все нашли спасение и кратковременный отдых здесь. Многие потеряли своих близких и любимых за той роковой, все испепеляющей стеной ревущего пламени. Они сидели на мокрой вытоптанной траве с застывшими лицами, смотря в пространство невидящими пустыми глазами. Никогда не увидеть им вновь тех, кого мысленно тщетно призывает их остановившийся мертвый взор. Рядом с ними — несчастливцами Пожара — лежали вповалку и сидели тесными кучками люди, которым алкоголь дал забвенье и даже веселье на сегодняшнем пиршестве огненной смерти. Эти люди — из разгульных пристанских кабаков огромного тихоокеанского порта, из жутких притонов и ночлежек темных боковых улиц Сан Франциско, где правили нож и кастет, где веял тяжким забвением сладкий дым опиекурилен Китайского Города и где унылые хоры Армии Спасения не заглушали звона разбиваемых окон, рычанья кровавой драки и свистков полицейских.

Елагин с презрительным удивлением заметил, что теперь вместе с матросами, грузчиками и оборванцами пили горячее виски из наваленных грудами бутылок и мужчины в запятнанных сажей и копотью вечерних накрахмаленных рубашках.

Андрей видел полуобнаженных женщин в дорогих платьях и мехах на коленях матросов с парусных кораблей. Елагин запнулся о неподвижное тело старика: вокруг головы того растеклась густая лужа черной крови... Андрей слышал звенящие крики женщин, с которых преступные руки нетерпеливо срывали одежды и драгоценности.

Власть и закон развеялись с дымом Пожара, и безобразная маска насилия хищно осклабилась над кипящей страстями толпой. Теперь произвол царствовал в лагере погорельцев.

Около треснувшей розовой мраморной чаши замолкшего фонтана Андрей услышал крик женщины. В колыщущейся толпе живописных мексиканцев увидел он белые женские плечи, обнаженную грудь и чье-то поднятое, отчаянием и стыдом искаженное лицо. Молодая женщина, как птица, выбивалась из цепких коричневых рук. Бледное лицо ее в темной волне распустившихся волос узнал мгновенно Елагин.

Дикое и свирепое бешенство охватило Андрея. В боковом кармане тужурки его рука сразу нашла и сжала шероховатую рукоять браунинга. Елагин рванул за воротник расшитой куртки одного из мексиканцев. Тот отступил в сторону и с тупым удивлением вгляделся в перекошенное лицо Елагина. Неожиданно веселая улыбка осветила загорелое и влажное от испарины лицо испанца. Он согнулся в шутовском глубоком поклоне и снял сомбреро.

— Por favor... passe senor!.. — округленным жестом пригласил он.

Мичман порывисто шагнул в толпу, к узнавшей его Марии Долорес. На мгновение жадное кольцо мужских рук отпустило ее, и девушка бросилась к Андрею. Но неожиданно она остановилась, задохнулась и прижала обе руки к сердцу. Большими глазами Мария смотрела через плечо Елагина. Андрей повернулся назад: дикой кошкой собрался испанец в упругий комок напрягшихся мускулов и уже занас над спиной Андрея граненое лезвие предательского стилета. Мичман, ненавистно глядя в южные ненавидящие же и дикие глаза, три раза нажал гашетку. Три выстрела слились в один. По лицу мексиканца, как зыбь, прошла мимолетная судорга. Человек с детским удивлением растерянно смотрел на Андрея. Он выронил стилет и поднес коричневые непослушные руки к горлу:

— Que diablo . . . senor ? . . — захлебнулся пенной кровью, шатаясь отступил назад, к розовой чаше фонтана и рухнул на спину в брызнувшую неглубокую воду.

Андрей схватил за руку Марию Долорес. Затихшая толпа послушно расступилась, и они побежали к недалекому и все еще нетронутому пожаром зданию отеля.

*

В садах поместья Стоддартов в тихом душистом Валлемаре полным цветом распустились персики и апельсины.

Белый дом с мраморной колоннадой широкой веранды, полукругом охватившей ровную бархатную зелень подстриженного газона, чем-то напоминал Андрею дядин дом там, в далеких Синявках.

Стоддарты дали приют своим многочисленным родным и знакомым из разрушенного землетрясением и пожаром Сан Франциско. В столовом зале с глубокой резьбой темных панелей и тяжелыми балками высокого потолка за длинный обеденный стол меньше тридцати человек никогда не садилось.

В начале, после бедствия, было тихо во время обедов, но затем настойчивая жизнь взяла свое, и все чаще на том конце стола, где собиралась непокорная, непоседливая молодежь, стал слышаться юный, звонкий смех.

В начале хмурились старшие, но вскоре и они, постепенно забывая бедствие, взялись строить планы о новой и лучшей жизни в воскресающем Сан Франциско.

Тяжело раненый город начинал шевелиться. Часто из-за пологих холмов, скрывающих близкое пепелище, доносились глухие раскаты взрывов динамита, сметавшего развалины. По пыльным извилинам проезжих дорог, почти вплотную друг за другом, тянулась непрерывная лента нагруженных доверху повозок с продуктами и строительными материалами: соседние города дружно и охотно посылали помощь разрушенному Сан Франциско.

«Владимир Мономах» также залечивал свои раны в окландском сухом доке: чудовищной волной, разведенной на рейде подземным толчком, бросило крейсер на причальную стену. От удара промялась надводная часть левого борта корабля. Время для ремонта «Владимира Мономаха» судостроители посчитали равным шести-семи месяцам.

Ван Кессель-Реннард списал всех желающих из офицерского состава на берег, и мичман Елагин был в числе списанных.

Когда, через неделю после памятного и страшного дня землетрясения, мичман, уже не в форме и верхом, добрался до Валлемара, — было горе в семье Стоддартов: Джек не вернулся из раздавленного и спаленного города.

Андрей тогда же сразу согласился и принял приглашение заплаканной матери Марии-Долорес — жить в «Alta Casa» до конца починки крейсера.

— Моя дочь рассказала мужу и мне о спасении ее вами, мистер Елагин, и мы, конечно, этого не забудем никогда... — нервно комкая мокрый кружевной платочек, говорила

Тереза Стоддарт. Видел Андрей в ее все еще красивых темных глазах искреннюю и теплую симпатию к нему, и согласие его жить в тенистом «Alta Casa» не было вынужденным.

Присутствие многих гостей не являлось заметным и обременительным в богатом и обширном поместьи Стоддартов.

Молодежь вела свою обособленную, своенравную жизнь, встречаясь со стариками только за обеденным столом.

Андрей и Мария-Долорес все чаще и чаще бывали наедине. Молодые люди привыкли ранними прохладными утрами, взяв на целый день провизию, уезжать со старым слугой Пабло, через невысокие зеленеющие горы, по узкой тропе, к океану, плещущему белой пеной о гранит прибрежных утесов. Там, на берегу, у небольшой бухточки, была у Стоддартов летняя дача с выступающей далеко в прозрачную зелень воды деревянными мостиками-пристанью.

Несколько моторных лодок и парусных яхт сонно дремали у причалов. Андрей и Мария-Долорес больше всего полюбили белую и, как чайка, проворную одномачтовую парусную яхточку. «See Breeze» называлась лодка, и она принадлежала покойному Джэку Стоддарту. С детства и Андрей и Мария-Долорес увлекались парусным спортом, и теперь этот общий интерес еще теснее сблизил их.

Ровный морской бриз нес яхточку в светлеющую даль; чуть слышно поскрипывала мачта и гудели тугие веревки снастей. Сорванные ветром клочья пены с гребней находящих бесконечных валов обдавали солоноватой влагой лица молодых людей.

В торжественной ритмичности просыпалась теми восхитительными весенними утрами синяя бездна океана. На серой черте горизонта рисовались, еще темными неясными силуэтами, длинные призрачные вереницы рыбачьих баркасов, и косой невысокий полет альбатросов чертил розовеющее восходом небо.

В эти незабываемые часы, проведенные Андреем вместе с Марией-Долорес, вдвоем среди необъятной лазури всегда дружелюбного к ним океана, по воле деспотичной судьбы, — две молодые жизни слились в одну: и Андрей, и Мария-Долорес убедилась в невозможности существования не вместе.

Думалось — это мнение разделялось и всеми, окружающими их в «Alta Casa». Часто за обеденным столом Андрей невольно ловил мимолетные пытливые взгляды красивых глаз Терезы Стоддарт. И часто после поздних обедов, ласково полуобняв его за плечи, старик Стоддарт вел мичмана по эвкалиптовой пряно-душистой аллее в сторону тихо шумевшего за горой океана. По дороге, приветливо отвечая на поклоны мексиканцев, обрабатывающих необозримые зеленые акры поместья, все чаще и чаще соединял Джон Стоддарт имена Марии-Долорес и Андрея.

Иногда же, обведя потухшей сигарой фиолетовый бархат холмов на фоне горящих закатом небес, старший Стоддарт ронял:

— Все это, Андрью, в сущности, принадлежит нашей Марии-Долорес... «Alta Casa» перешла к ней от бабушки с материнской стороны, донны Долорес-Инес д'Естрада... — и по губам твердого рта финансового магната пробегала мимолетная, чуть насмешливая улыбка.

Когда на смену весенней свежести пришел летний зной, — расцвела в сердце Андрея любовь к гордой, немного замкнутой Марии-Долорес.

Стояла на вершине довольно высокого холма полукруглая беседка — греческий портик. Белоснежный мрамор ее увит матовой зеленью плюща и дикого винограда. Чтобы добраться до беседки, нужно долго подниматься по каменистой тропинке сквозь густую чащу рододендронов и розовых кустов, покрывающих холм.

С вершины, из беседки, виднелась на западе голубая сверкающая беспредельность океана, где на горизонте дымились темные точки кораблей, уплывавших на Филиппины, в Китай, Японию, и из-за недалеких прибрежных скал неслышными птицами выскальзывали полные паруса рыбаков.

С противоположной стороны, на востоке, далеко внизу, у подножья холма, зеленели сады и поля Валлемара.

С высоты — игрушечной казалась белая колоннада дома Стоддартов и маленькими — красные квадратики черепичных крыш людских и конюшен. Ослепляли часто солнечной радугой стекла многочисленных оранжерей и парников, которыми так гордился Джон Стоддарт.

Андрей и Мария-Долорес, отчужденные от всех расстоянием и высотой, любили наблюдать за кипучей и сложной жизнью поместья: за яркими рубахами мексиканцев, неведомыми цветами выросшими среди зелени деревьев и полей, за тянущейся цепочкой к Сан-Бруно кавалькадой верховых, за всегда занятыми прямоугольниками лаун-теннисных и крокетных площадок, за колясками и кабриолетами, подъезжавшими к бронзовым воротам «Alta Casa».

На широкой дубовой скамье в беседке Андрей часто клал голову на теплые колени Марии, закрывал глаза и слушал ласковое движение ее пальцев, перебиравших его непокорные волосы.

Девушка любила рассказы Елагина о далекой, таинственно-сумрачной для нее, России.

Воспоминания Андрея о родной стране приблизили Марию-Долорес к недавним годам его детства, прошедшим в хлебосольном помещичьем Ростове, среди челяди, нянек и гувернеров огромного дома любимой бабушки, деспотичной генеральши Анны Елагиной.

Узнала Мария-Долорес и об отроческих летах Андрея в надменном и сановном Петербурге, где у кадета Андрея Елагина было две новых семьи: Морской Кадетский Корпус и

— семья его отчима, всесильного премьер-министра Дмитрия Арсеньевича Столбина.

В столице жизнь Андрея чередовалась между Корпусом и красным кирпичным особняком министра на Литейном, где у тяжелых чугунных ворот ограды всегда стоял молодцеватый полицейский.

Редко, даже в воскресные отпускные дни, видел он и занятого серьезного отчима, и еще более занятую, невнимательную мать, статсдаму императрицы. Из безжалостной мельницы Корпуса капризный изнеженный барченок старого помещичьего гнезда через несколько быстрых шумных лет вышел крепким, хорошо сложенным и точным в движениях гардемарином, к которому так шла его темная и строгая морская форма.

Здесь, в этой, увитой матовой зеленью виноградных листьев, мраморной беседке узнал мичман Елагин и о девичьих юных днях Марии-Долорес.

Раннее детство Марии-Долорес прошло среди дерзко вонзившихся в облачную зыбь небес квадратных башен Манхаттана, среди кудрявых и пыльных деревьев Централ-Парка, куда ежедневно в полдень ее и таких же, как она, разодетых по последним картинкам журнала «Vogue», завитых и в пышных бантах крошек-женщин с зеркально-оконной Пятой Авеню, выводила на прогулку целая армия щебечущих француженок-гувернанток.

В то время Джон и Тереза начинали в Нью-Йорке неизвестный еще путь своей недавней совместной жизни, но шли они по нему, крепко держась за руки.

Тереза свободно отдала целиком свое сердце и душу Джону Стоддарту — не католику, а протестанту, — откинув для него религию своей семьи и уйдя с ним, не думая о будущем, из дома матери, фанатичной католички.

В Нью-Йорке, в девяностых годах, молодой Джон Стоддарт начал головокружительный и стремительный подъем

на золотые высоты финансовой крутой лестницы. Через десять лет он был уже одним из повелителей и владык Уолл-Стрита. Еще через пять — фирма «John Stoddart, securities and investments» могла лишь одной шифрованной телеграммой поднять или опустить капризные весы международной биржи.

В ранних днях юности девушки и мичмана было все же нечто общее: Мария-Долорес с двенадцатилетнего возраста также жила и училась пансионеркой закрытой школы в швейцарских Альпах.

В беседке, целуя горящие губы Андрея, девушка опускала обе руки на плечи мичмана и подолгу задумчиво смотрела в любимую загадочность его глаз.

— Знаете, Андрью, я думаю, что любить сильнее, чем люблю я вас — нельзя . . . Мы, их женщины, — я, ведь, говорю о семье гордых кастильских грандов и конквистадоров, д'Эстрада — обычно отдаем себя целиком любимым нами мужчинам . . . Слышите, Андрью ? . . Я ваша, до конца моей жизни, и вы принадлежите мне, мой . . . Андрьюша . . . — смеясь, часто полушутя, полусерьезно говорила Мария-Долорес. — А если . . . если вы отдадите свое сердце другой . . . то . . . — ее глаза гневно темнели: — то, все равно, под конец я буду вновь вашей и вы моим . . .

В летнем зное Валлемара растаяли вьюжные белые зимы России и незаметно стало бледнеть и растворяться в дымке прошлого то, что хотел или старался забыть Андрей: яркий, дерзкий рот и прекрасные, и грешные глаза той другой, в далекой родной стране.

К концу лета Андрей, в ответ на свое письмо к матери, получил от Столбиной недлинное письмо и посылочку.

В письме мать точными французскими фразами соглашалась, вместе с мужем, на брак Андрея, но только через один год.

В посылочке мичман нашел очаровательный эмалевый медальон: на голубом с серебряной сеткой поле выпукло синела милая незабудка. На внутреннем червонном золоте крышки было выгравировано: «Не забудь». Мальчишеское лицо Андрея и нежное — Марии-Долорес смотрели из золотых овалов рамки.

Приложенная надушенная записка Столбиной к Марии-Долорес поясняла, что медальон этот привез в 1815 году из Парижа кавалергардский полковник Елагин своей невесте. В их семье медальон считается счастливым талисманом и приносит счастье молодоженам.

В этой же беседке Андрей сам надел медальон с незабудкой на шею своей невесте, скрепив этим их ненарушимый вечный союз.

Ранним утром «Владимир Мономах» опять широкой белой грудью своей резал зеленые волны, уходя в свежий океанский простор.

Мичман стоял на мостике и смотрел в бинокль на развалины Сан Франциско, где семь месяцев тому назад в смертельном грохоте землетрясения и огненном смерче пожара расцвела его любовь к нежной и чистой Марии-Долорес.

О ней думал Андрей Елагин, смотря на исчезающий в тяжелом утреннем тумане сожженный город.

*

Обрубок-Джимми стоял на своей тележке-платформе, и по одутловатому, багровому лицу его, как слезы, катились крупные капли дождя.

Мимо короткого, зашитого в обтертую до глянца мягкую кожу, туловища калеки неслись вниз по Третьей Улице грязные ручьи первого осеннего ливня. Плыли, крутясь и кувыркаясь в мутной воде, спички, окурки и смятые разноцветные лепестки трамвайных билетов.

Обрубок-Джимми — деспотичный повелитель четырех своих друзей — пьяниц. Вон они здесь, его дружки-приятели, сзади его приютились, верные друзья, в темном проеме мокрых дверей.

Пьяницам холодно сегодня и от хронического похмелья, и от этого первого неуютного осеннего дождя.

Перекачиваются приятели с ноги на ногу в своей дырявой хлюпающей обуви, сверлят шершавыми красными кулаками мокрые подкладки карманов. Часто с руганью снимают промокнувшие насквозь шляпы с обвисшими, как бумажные, полями и стряхивают дождевую назойливую воду.

Здесь, за спиной Обрубка-Джимми — Тони-Грузчик, здесь Ромас-Пианист с неразлучным приятелем Джо-Боксером, здесь же сумрачный и молчаливый Матрос.

Ежатся от холода друзья-приятели и зорко следят за укороченным туловищем калеки. Неохотно сквозь зубы цедят они скупые неприветливые слова: говорить им не о чем, — все переговорено давным-давно. О прошлом — все известно. Настоящее — здесь, под воротами, под дождем. Будущего у них не будет...

Как и Обрубок-Джимми, его приятели принадлежат к верхним, правящим кругам Skid-Row Третьей Улицы. Живут они все вместе в одной из лучших передних комнат старого, обреченного на снос отеля.

Калека и его любимец, молчаливый и замкнутый Матрос, спят, обычно, вдвоем на широкой двуспальной кровати, а остальные — в углах, на полу.

Обрубок-Джимми платит за комнату и с сожителями своими требователен, порой жесток и распоряжается ими, как рабами.

В деньгах калека не нуждается. Когда он стоит на своей передвижной тележке-платформе на своем постоянном месте, около конторы большой газеты, то дают ему многие и по-многу. Смотря в пространство, но замечая и видя все, ка-

лека с горьким удовлетворением наблюдает, как часто у проходящих вместе мужчин и женщин при виде его, половины человека, — меняются лица, как, пройдя несколько шагов, они останавливаются и, вернувшись торопливо назад, смущенно и робко кладут в шляпу Обрубка-Джимми, среди карандашей, лезвий безопасных бритв и шнурков для ботинок, которыми для виду торгует калека, — серебро и зеленые долларовые бумажки.

В особо удачные дни выручка Обрубка-Джимми нередко переваливает за несколько десятков долларов. Деньги калека при себе не держит: в конце дня он разделяет дневную выручку на четыре равные части и дает на сохранение каждому из своих приятелей. После раздела калека может быть покойным за точный учет отдельной доли каждого казначея — тремя остальными. Впрочем, особых забот о деньгах у калеки и не может быть: к утру следующего дня из собранных денег все равно уже ничего не остается. Когда под вечер Тони-Грузчик и Джо-Боксер несут калеку, как ожившего идола, на его тележке-платформе по широкой и грязной лестнице «Конгресса» наверх, в свою комнату, — то на каждой ступени ее сидят тесно, плечо к плечу, тоскующие и мрачные, тяжко переживающие свинцовый угар похмелья, алкоголики — жильцы «Конгресса». Любовно-преданными рабьими взорами стараются пьяницы поймать потусторонний взор устремленных в пространство, невидящих глаз Обрубка-Джимми. Цепко и хищно держится обеими руками за бычьи шеи Тони-Грузчика и Джо-Боксера он, — этот безногий богдыхан своей сумбурной империи пьяниц. По легкому надменному кивку его головы Матрос, идущий впереди, и Ромас-Пианист, замыкающий шествие, швыряют серебряную мелочь в шляпы и на колени сидящих.

Вслед возносящемуся по лестнице туловищу калеки гудят восторженно и льстиво:

— Спасибо, Джимми!.. Спасибо, наш мальчик!..

После уноса Обрубка-Джимми немедленно пустеет лестница. Вскоре на углах темных переулков и тупиков близ «Конгресса» собираются небольшими кучками ватаги оборванцев. Благоговейно передают пьяницы друг другу бутылки с рубиново-липким Портвейном или янтарно-дурманящим Мускателем. Жадно всасывают вино, запрокинув далеко назад кудлатые головы, устремив тусклые глаза на мигающее звездами темное и равнодушное небо. Сплевывают розовую липкую слюну, вытирают рукавом горлышко бутылки и бережно передают ее следующему.

Через несколько минут загораются от чудодейственного зелья потухшие глаза пьяниц, багровеют землистые лица, вновь слышится хриплый смех и пьяное обычное бахвальство о былом и . . . о будущем. Вспыхивает нестройная песня и внезапно обрывается. Иногда взметываются, висят в воздухе кулаки и завязывается кратковременная чахлая, слабосильная драка алкоголиков.

Полицейский на задней подножке медленно ползущей по улице патрульной синей кареты лениво говорит кучеру:

— У безногого сегодня был хороший день ! . .

Большая их комната глядит окнами без занавесок на бурлящую беспокойную жизнь бродяг Третьей и Ховард улиц.

С пьяной нежной грубостью снимают приятели калеку с тележки, отстегивают кожаную сбрую, держащую замшевые подушки для обрезанного туловища Джимми. Затем все вместе несут его к умывальнику. Калека щепетильно чистоплотен: в то время, как Тони-Грузчик и Джо-Боксер держат его туловище над раковиной умывальника, Матрос и Ромас-Пианист обмывают туловище калеки мыльной губкой. Сам он подолгу и с наслаждением, закрыв глаза, обливает лицо теплой водой, тщательно чистит щеткой зубы и полощет горло. После омовения на его укороченное жалкое, но нежное и белое, как у женщины, тело с ненормально развитыми сильными плечевыми и шейными мышцами — надевается ноч-

ная рубаха, и калеку, в это время странно похожего на большого младенца, относят в кровать. По заведенному обычаю, еще некоторое время сидят все четыре его друга на широкой кровати с неизменной бутылкой кроваво-маслянистого сладкого Портвейна. Вскоре, однако, калека приказывает тушить свет, и в полутьме комнаты становится тихо. Но долго не спят Джимми и Матрос. Лежа на спинах рядом, калека и его любимец в пьяном оцепенении смотрят неподвижными глазами на потолок, где в светлых пятнах электрического уличного света мысленно видят они вновь свои две прошлых, так нелепо и напрасно истраченных жизни.

Грезится нередко Обрубку-Джимми затемненный переполненный концертный зал Карнеги-Холла. Белеющие смутные лица зрителей, отсвечивающие стекла биноклей. Как прижав щекой нагретую теплую скрипичную деку, слышит он вновь рыдающее дерево старинного инструмента. Видит часто калека, как на экране, в светлом пятне на потолке характерное лицо медноволосого гиганта, его друга и его злого гения ... Видит себя среди рева огненного вихря на площади, у покосившегося пианино на песке мокрой от недавнего дождя дорожки. Видит все тоже волевое недоброе лицо своего медноволосого друга, управляющего сумасшедшим хором пьяниц. Вспоминает калека опять гремящий от рукоплесканий концертный зал, но уже в Лондоне. Сардоническую усмешку медноволосого гиганта, повелительным взмахом дирижерского батона заставляющего послушный оркестр вторить смычку его Страдивариуса. Серебро и хрусталь обеденных и банкетных столов после концертов. Налитое медноволосым другом шампанское. В начале — утонченные обеды, пиры. Затем просто беспробудное пьянство все с тем же медноволосым, который приучил его пить.

Затем ... Затем одна ночь в экспрессе, на перегоне Нью-Йорк — Филадельфия ... После ужина в вагоне-ресторане, ужина с шампанским и коньяком, без которых он уже не мог

ничего делать, в кожаной гармонике прохода между вагонами сделалось ему вдруг душно, и тоскливо замерло в груди непослушное сердце... Открытая с трудом тугая стальная вагонная дверь... Крутая кривая на уклоне и на полном ходу. Упругий рывок в пространство... Свои распяленные пальцы, хватающие отчаянно упругий воздух. Расширенные ужасом красивые глаза его случайной спутницы нескольких бессонных угарных ночей. Да, как и он, торопилась эта женщина, наследница многих миллионов, сжечь до тла свою жизнь... Удар грудью о гравий балласта пути. Жуткое и неизбежное влечение инерцией стремительного лета поезда к гремящим по синему ножу рельс ребордам колес мелькающих вагонов...

Что же видел Матрос в этом матово-желтом неясном пятне, отражении электрического фонаря Третьей улицы?

Не пламя ли все того же чудовищного пожара Сан Франциско, раздавленного корчами земли? Не те ли прохладные ранние утра в голубой дали океана с девушкой, которой он обещал свое сердце?.. Обещал, но отдал — другой... Той жестокой и лживой, в далекой родной стране.

В пьяном полусне видит, как наяву, Матрос былые картины ушедшей, сгоревшей жизни своей.

Как производством в лейтенанты и торжественными похоронами старого адмирала встретил Петербург его возвращение. Матрос видит себя идущим за гробом дяди. В воздухе поздней осени пахнет ладаном, и резкий ветер временами налетает со взморья. Она идет впереди него, с головы до ног окутанная волнами черного крепа. Но не скрывают складки изысканного траура ее гибкой фигуры. Она придерживает длинными пальцами в черной лайке трепещущее от порывов ветра кружево вуали. Всем существом своим он чувствует, что она нарочно замедляет шаги, стараясь незаметно приблизиться к нему. Внезапно он ощущает прилив дикой, какой-то бесстыдной радости от торжествующей мысли о смер-

ти дяди, который был им помехой. Отдаваясь этому страшному чувству, он бессознательно ускоряет шаги и теперь идет почти вплотную за ней, едва не касаясь ее, жадно вдыхая запах ее любимых духов.

Матрос вспоминает, как после нескольких коротких недель, проведенных ими вдвоем в лесной снежной глуши его ростовского имения, — он имел неприятную и тягостную для себя встречу с матерью и отчимом на зимней пригородной мызе Столбиных. Не только тягостным было это вечернее свидание для Андрея. Матрос видит, как сейчас, синевато-багровый жар громадного камина тесаного финляндского гранита в библиотеке старого большого бревенчатого дома. Красными неяркими и вздрагивающими отблесками отливает золотое тиснение на длинных покойных рядах кожаных переплетов. Он объявил тогда матери и отчиму о том, о чем уже давно открыто говорилось в гостиных и в кают-компаниях кораблей: о своей любви и о своем решении уехать вместе с нею на неопределенный срок заграницу, даже до окончания ее траура. Столбин смотрит на Андрея. Одна белая крупная рука его слегка покручивает кончик седеющего уса, другая теребит крест шейного ордена. Сощуренные темные и внимательные глаза министра скользят по лицу Андрея. Мать стоит спиной к массивному, львиными головами резному, столу, заваленному русскими и иностранными газетами. Она зябко кутает плечи в черный кружевной шарф и нервно расправляет перепутавшиеся жемчужные нити своего ожерелья, матово отливающие неверным скользящим жаром камина. Красивое лицо матери неподвижно, но едва заметная презрительная улыбка кривит уголки ее губ.

На слова Андрея, что он ни в чем и ни перед кем оправдываться не собирается, Столбина негромко ответила: «Вы — не должны. А как же эта очаровательная американочка?»

Перед Матросом колышется голубая пелена озера Комо. Их вилла на скалах, и смотрит прямо на свое отражение в прозрачной глубине озера. Здесь пролетели быстро первые месяцы их совместной жизни. Через докторов он сменил свой долгий отпуск на бессрочный. Из Италии они отправились во Францию и оттуда на несколько недель, осенью, в Англию, куда приезжала она уже несколько раз прежде. В туманной влажности Лондона была своя неизъяснимая прелесть, и жили они за городом в кирпичном угрюмом столетнем коттэдже на пологом берегу небыстрой Темзы. Здесь, встречаясь иногда со своими несколькими английскими друзьями по Петербургу, прельстился Андрей спортивно-привольной жизнью «фермеров-джентельменов». Порывался несколько раз написать прошение об уходе в отставку из Императорского Флота, но она отговорила его:

«Мой мальчик затоскует без любимых корабликов... Твоя жизнь ведь в море, Андрэ, и я не хочу отнять его от тебя».

К приходу зимы их отношения потеряли жгучесть и страсть новизны, и чаще и чаще грезилась им Россия. Через несколько дней первый, еще не холодный снежок пушил соболий воротник ее шубки и резковатый зимний петербургский ветер румянил их лица на Невском.

Он исполнил ее просьбу, и теперь жизнь его принадлежала ей и морю. Море баловало Андрея, и во Флоте продвигался он быстро: через пять лет уже был командиром эскадренного миноносца, а через два года получил назначение капитаном вторго ранга на легкий крейсер «Стремительный».

Глубоко мучился, но вместе с тем и отдыхал душой он при каждом очередном уходе в море. Доставляла эти моральные страдания ненапрасная ревность, и только море своей извечной голубой бескрайностью приносило его душе желанное спокойствие.

Она, одаренная пианистка, вела общение с тем тесным и замкнутым кружком известных музыкантов, артистов и художников, куда доступ непосвященным в высшие степени искусства был затруднителен, почти невозможен. Мораль и нравы среди этих талантливых людей не была высоки, и считали они, что избранным — все дозволено. Окружение ее обычно заключало в себе самые известные, самые громкие мужские имена, и в этом окружении на первом месте бессменно и ближе всех к ней стоял тот знаменитый баритон, чье все существо было ненавистно Андрею. Как часто, поэтому, у себя на крейсере, виделась ему через широкие окна капитанской рубки в текучем золоте лунной дороги на дышущей поверхности океана та — изменчивая червонная лунная же тропинка медленного Днепра, под Киевом, в Синявках.

Матрос закрывает усталые глаза и достает из-под подушки смятую пачку сигарет. Он проводит спичкой по исцарапанной стене. Желтое скупое пламя выхватывает из полутьмы землистое лицо Обрубка-Джимми, на запятнанной подушке. Потревоженный светом калека просыпается и злобно сует острый костлявый кулак в бок Матроса. Со стула возле, где висит его сбруя, он тоже достает сигарету, прикуривает от огненной точки Матроса и с наслаждением глубоко затягивается. Некоторое время они молча лежат на спинах и курят. Из углов комнаты доносится бредовое негромкое бормотание и всхлипывание спящих. Затушив слюной окурки, оба опять погружаются в сонное оцепенение.

Почему-то, обычно, утрами грезятся часто Матросу последние годы в родной стране. Зимние штормовые дни и ночи в белесой ледяной мгле Балтийского моря. Сотрясающий стальное тело корабля рев носовых десятидюймовых орудий. Развороченные броневые переборки боевой рубки. Нестерпимые для глаз и для сознания белые молнии разрывов. Едкий, режущий легкие, запах пикрита. Неожиданная

непереносимая боль в плече и в боку... Затем благословенное забытье... Забытье на многие дни...

В морской лазарет навещать его она приходила всегда не одна, и чаще всего в сопровождении певца, полнеющую фигуру которого ловко облегала защитная форма военного чиновника.

После — отскрежетали в прошлое охлестанные кровью годы Гражданской. Он увидел впервые слезы твердых людей, не плакавших даже при смерти близких, но заплакавших непривычно, навзрыд, при виде флотилии русских кораблей, покидающих родную страну под флагом Франции.

Другой госпиталь... Полотняный... Беженский, в Бизерте. Там сгорала она на брезентовой койке в тифозном жару. Он держал ее пылающую голову обеими руками и смотрел неотрывно на ее осунувшееся, в багровом румянце, но все еще прекрасное лицо. Уже теряя навеки сознание, она последним осмысленным взглядом обвела его и через силу хрипло проговорила:

— Прости... Андрей... Я, ведь, была плохая жена... Не жалей особенно... Найди другую, лучше меня... — и две слезинки скатились из ее ввалившихся глаз по щеке.

*

Конец к Обрубку-Джимми пришел неожиданно. Одним поздним вечером несли приятели калеку на его тележке-платформе, как ожившего идола, вверх по лестнице отеля. День выпал особенно удачный, поэтому Матрос и Ромас-Пианист щедро сыпали серебряную мелочь в шляпы и трясущиеся пригоршни оборванцев. Калека и его приятели, по случаю большой выручки, были сильно пьяны. Высокий нескладный Ромас-Пианист поднимался неуверенными шагами, спотыкаясь среди коленей и ног сидящих. Несколько раз он оступался, и калека испуганно обнимал крепче шеи Джо Боксера и Тони-Грузчика. Шатаясь и со смехом почти доне-

сли они калеку до площадки второго этажа, но на одной из последних ступенек запнулся о чью-то ногу Тони-Грузчик. Он потерял равновесие и, не выпуская все же из рук тележки с калекой, опрокинулся назад на головы и плечи сидящих. Обрубок-Джимми с воплем безуспешно пытался удержаться за шею Джо Боксера. Его короткое туловище мелькнуло в светлом пролете лестницы и глухо хлопнулось о цементный пол первого этажа.

Со смертью Обрубка-Джимми закончилась совместная жизнь четырех. Они разбрелись по углам разных ночлежек и встречались лишь в темных переулках за общей бутылкой рубинового Портвейна. Матрос работал редко. Со смертью калеки, казалось, оборвалась последняя нить, связывавшая его с желанием жить, даже так, как он жил. Часто ночевал он вместе с такими же, как и он, в тупике одного из жутких переулков. Бродяги натаскали туда кучи старых газет и спали, зарывшись в них, согревая своими телами друг друга. По утрам, в мокром тумане ранних рассветов, вылезали они, как большие коричневые крысы, из под влажных бумажных груд. Протирали запухшие глаза, трясли кудлатыми головами, долго удушливо кашляли и бессмысленно смотрели на начинающее розоветь небо. Вставали с трудом и с отвращением: от наступающего дня им нечего было ожидать, кроме, может быть, нескольких глотков приторно-сладкого вина и тарелки водянистого супа в одной из миссий Третьей Улицы. Изредка все же брал он какую-нибудь случайную работу, на которой не обращалось внимания на его обтрепаный костюм, дырявую обувь, грязное белье: мыл в харчевнях тарелки и полы, разносил летучки с объявлениями, собирал с улиц пустые бутылки.

В один из весенних уже теплых и солнечных дней встретил он веселого и, как всегда, пьяного Тони-Грузчика. Осклабился всем красным лицом тот и показал из пазухи своей растрескавшейся порыжелой кожаной куртки горлышко

полной бутылки. В переулке под воротами старого здания, после нескольких жадных глотков липкого Портвейна, Тони-Грузчик хвастливо сказал:

— Эй, приятель! Ну, и работу я отыскал!.. Легкую и платят хорошо... Каждый день, по часам... Можно и работать и выпивать... Босс сам пьяница — из наших же, из «Skid Row»... Шорти... Если угодно, — могу устроить.

Матрос нехотя согласился. На следующее туманное утро Тони-Грузчик взял его с собой на работу в верхнюю часть города. У Матроса болела голова, шел он нехотя, медленно, отвечая приятелю насмешливо и враждебно. Улицы поднимались круто в гору. Они задыхались от непривычной ходьбы. Часто останавливались на углах. Долго откашливались, подбирали на влажном асфальте тротуаров окурки покрупнее, глубоко затягивались серым дымом, сплевывая.

Наконец, они перешли широкое, еще безлюдное Президио Авеню и приблизились к полуразвалившейся каменной ограде старого кладбища. Между квадратных гранитных столбов покосилось тяжелое железо кованых ворот. Внутри ограды стояла деревянная сторожка. Над дверью, на белой доске было уродливо выведено черной краской:

«Полевая Контора. Абе Блюм, подрядчик».

Около, в сырой туманной полумгле рассвета, переминались с ноги на ногу кучка поднявших воротники оборванцев. Из толпы послышались радостные голоса:

— Hi, Toni!.. Hello, you Sailor!..

Появилась и заходила по рукам бутылка Мускателя, и хриплые простуженные голоса бродяг повеселели.

Серый туман колебался влажным паром над мокрой травой и гравием дорожек кладбища. Первые косые лучи низкого солнца прошли сквозь молочную стену тумана, окрасив его белесую муть в розовый, прозрачный и нереальный цвет. Неожиданно и сразу тяжелая пелена тумана над Нижним Городом поднялась кверху, как занавес громадной сцены, и

на оранжево-зеленоватом полотне небес вырисовывались четко пологие линии далеких Окландских холмов.

Над плоскими крышами высоких зданий Нижнего Города с двух противоположных концов его вонзались в неясную синеву небес два лиловатых стальных пальца исполинских устоев строящихся мостов через Залив. Встающее солнце сметало постепенно тени с глубоких коридоров улиц, и в воздухе рос и ширился неясный шум просыпающегося города.

В дверях конторы появился широкоплечий коренастый Шорти. Он заложил обе руки за пояс рабочих штанов и веселыми наглыми глазами окинул затихшую толпу бродяг:

— Здравствуйте, пьяницы!.. Сколько вас тут набралос?.. — начал считать он, суя пальцем в оробевшие лица: — Одиннадцать... семнадцать... Двадцать три... Ишь, сколько вас тут понабралось!.. Вся Третья Улица пришла!.. Но, вот что, друзья мои... Знаю, что вы все проклятые пьяницы и толку от вас, бродяг, мне будет мало... Но мы все — люди и должны помогать друг другу... Не так ли? Хорошо, я нанимаю вас всех!.. Работа легкая. Работать надо три дня в неделю, через день. Помогать перевозить старых жильцов на новые места... — засмеялся он.

— День работает наша смена, а день, чередуясь с нами, — рабочие от другого подрядчика, которые разбирают склепы и перевозят памятники. Ваше дело заключается в том, чтобы сложить старых жильцов в новые ящики и занумеровать их... Мне неважно, куда кого положите... Лишь бы общее число сошлось... Ну, да это я сам подгоню. Платит контора по часам к концу восьмичасового рабочего дня. Доллар в час... Деньги на руки... Чего лучше?.. Ну, согласны, пьяницы?.. Согласны!.. Начинайте вон с того угла кладбища... Билл и Слим покажут вам, что надо делать... Эй, эй!.. — вдруг страшно закричал Шорти, зверски округляя глаза и бросаясь в толпу оборванцев: — Это что?!. — торжествовал он, размахивая отобранной бутылкой вина. —

Это, друзья мои, надо бросить!.. Здесь вам не Третья Улица!.. — Он поднял бутылку и посмотрел на свет. — О, Мускатель!.. Давно я не пил Мускателя... Я — поклонник джина!.. — Он запрокинул голову и долго пил из горлышка. Отнял от губ бутылку, посмотрел опять на свет и с сожалением передал ее ближнему бродяге.

— Пить надо вон там... — тихо сказал он, сплевывая и утираясь рукавом: — там, за памятниками, в кустах... а то — выгоню!..

Из некрашеной двери конторы выглянули два распухших молодых женских лица:

— Идите сюда, Шорти! Скорее... Мы ждем!..

— Ну, с Богом! — улыбнулся Шорти. — Секретарши мои ждут... Надо вас занести в списки, на жалованье!.. — и он скрылся за дверью.

Повеселевшие бродяги пошли нестройной толпой вслед за широкими спинами Билла и Слима в отдаленную запущенную часть кладбища. Здесь буйно росли колючие кусты одичавших роз, высокие грубые стебли неведомых сорных трав и дикой конопли. Среди них местами вкрапливались яркие и красочные молодые листья и побеги ядовитого дуба и плюща.

На испуганные восклицания бродяг Билл заявил, что пьяницам ядовитый дуб и плющ не страшны. Слим же мимоходом заметил об удержании Шорти двадцати пяти центов за каждый час работы: «на расходы по найму и конторские издержки».

Десятники подвели бродяг к пустому, уже готовому к сносу, склепу.

— Здесь, — пояснил Билл, — можно переждать непогоду, вообще отдохнуть, сыграть, когда можно, в покер или кости и даже побриться, — указал он на разбитый кусок зеркала на стене и кипы желтых газет на мраморном полу.

— Чем не отель Сан Францис?.. ухмельнулся он.

Вставшее солнце высушило буйную траву и густые кусты кладбища от ночной росы. Со стороны океана налетал временами свежий ветерок. Старые высокие эквалипты шелестели молодой листвой. В воздухе плавал терпко-острый запах эвкалиптового масла. Одичавшие кусты роз и шиповника обступили душистой стеной со всех сторон большую часовню-мавзолей. По гранитным стенам ее и треснувшему мрамору колонн стихийно ползли сочные зеленые побеги и листья плюща и повилики. Широкие пустые проемы дверей и окон темнели сквозь спутанное кружево листвы.

Бронзовые решетки дверей и оконные рамы лежали ровными рядами на дорожке. Внутри, в самой часовне, со сводчатого потолка из прорезанных в нем стрельчатых окон струился спокойный голубой свет. Черная с белым мозаика пола вела к широкоой белой мраморной же лестнице, уходившей вниз, в склеп.

Еще не тронутые рабочими, два бронзовых коленопреклоненных ангела касались своими крыльями друг друга на квадратных мраморных пьедесталах у начала лестницы и, казались, строго берегли вечный покой этого великолепного дворца мертвых.

Шаги вошедших бродяг гулко отдались по пустой часовне, и отзвук этот незримо спустился по лестнице и, постепенно удаляясь, замер в пустой черной темноте усыпальницы внизу.

Билл отделил из затихшей толпы оборванцев Матроса, Тони-Грузчика и еще двух других. Он кивком указал бродягам на сложенные в углу лопаты, кирки и несколько керосиновых фонарей.

— Вот вам, работнички, коробка спичек . . . Там, внизу, темно, и работать надо при свете . . .

— Ваша работа, — пояснил Билл сумрачным бродягам, — заключается в том, чтобы переложить хозяев из их старых постелей, которые, надо сказать, порядком прогнили, в но-

вые дубовые кроватки... Ящики для этого уже приготовлены... Они стоят там, внизу, — махнул Билл рукой на лестницу, — и ждут своих хозяев... На старых гробах краской намазан номер... Всех номеров в этой гостинице...

Билл справился в засаленной растрепанной записной книжке:

— Всех номеров... здесь шесть!.. На новых ящиках намечены те же номера... Ваше дело — переложить понежнее хозяев в новые ящики с их номерами... А уже мы, в конторе, запишем эти номера против действительных имен и фамилий хозяев... Вот это и все на целый день!.. Как видите, работа не трудная, «мягкая»!.. Можете курить и даже выпивать... если есть что... Только в меру!.. Ну, желаю хорошего улова, джентельмены!.. — Толпа, шаркая ногами, с шумом вышла наружу.

Четверо бродяг вяло подошли к лопатам и фонарям. Мучило их тяжелое похмелье, и кружились головы от спертого воздуха склепа.

Тони-Грузчик вытащил из заднего кармана непочатую бутылку Портвейна:

— Эй, приятели! Прикладывайтесь!.. Не стесняйтесь, у меня еще другая есть в запасе!.. — самодовольно сказал он. — Кончим и ту, так еще достанем... Билл и Слим сами торгуют этим зельем!.. Видите, как все хорошо получается!.. А?.. — и он, смеясь, сунул бутылку Матросу.

— Да, самое-то главное я и забыл сказать вам!.. Помните последние слова Билла?.. Об улове?.. Вот в чем дело: хозяева здесь, в этом дворце, как видно, не бедные, поэтому возможно, что мы что-нибудь и найдем в их кроватках... Колечки, сережки там всякие, на худой конец — золотые зубки!.. Это уж наверняка!.. Для этого у меня и инструмент припасен! — и Тони-Грузчик показал ржавые столярные клещи-плоскогубцы. — Моя новая специальность: я — дантист-зубодер!.. — засмеялся, задергался он, уже пьяный.

От этих слов бродягам сделалось отчего-то весело, и они с пьяным смехом начали разбирать лопаты и сопя зажигать фонари.

Они с нарочным грохотом и шумом, но стараясь держаться все вместе, спустились по широкому белому мрамору лестницы вниз. Красное и неровное пламя фонарей дрожащими бликами выхватило из мглы склепа полированные до зеркального блеска черные гранитные стены с темными квадратами хранилищ, откуда неясно и смутно виднелись скошенные концы гробов. Бродяги неуверенно топтались на месте, не зная, с чего начать.

— Что вы жметесь на месте, как бараны?!. — грубо и презрительно крикнул на них Матрос. — Испугались мертвых, что ли?.. Не нам их пугаться надо, а им — нас!.. Мы хуже мертвых, и наша Третья Улица — похуже кладбища!.. Ну, вы, пьяницы... Начинайте!.. Тони!..

Матрос и Тони Грузчик уверенно направились к ближайшему отверстию в стене усыпальницы. Тяжело отдуваясь, в алкогольной испарине, они неловко потащили гроб из его хранилища в стене. Струей затхлого теплого воздуха, в котором все еще чувствовался сладкий тошнотворный слабый запах тления, охватило их. Тони-Грузчик с проклятием выпустил гроб из рук и опять припал жадно губами к бутылке.

Матрос один с силой рванул гроб из хранилища. Он не рассчитал своего движения, и гроб со скрипом пополз к краю отверстия и на секунду, словно в раздумьи, навис своим передним концом над Матросом. Оба бродяги поспешно отскочили в стороны, и гроб с треском рухнул на камень пола. Полусгнившее дерево распалось на части, и в столбе серой затхлой пыли с тем же пронизывающим мучительным запахом тлена, среди груды полуистлевшей материи обивки гроба и одежды, скелет выпал на плиты пола. Обтянутый лохмотьями темной коричневой кожи череп скелета весело и лукаво скалился ровной желтизной зубов на Матроса в рас-

пустившейся волне черных и все еще блестящих волос. Он ногой отбросил его к бесформенной груде праха.

Среди обрывков белого шелка платья женщины тускло блестела золотая цепочка. Жадные пальцы Матроса рванули ее к себе, и тяжелый медальон послушно и плоско лег ему в руку.

Матрос рукавом куртки потер загоревшийся яркой голубой эмалью медальон. Он нагнулся, роняя капли пота с лица в шипящий огонь фонаря, и непослушными пальцами открыл тугие литые крышки. На внутренней стороне одной он прочитал короткое: «Не забудь», а из овальных золотых рамок при неровном свете вздрагивающего пламени, как будто при свете тех ревущих, неудержимо взметывающих к небесам огненных языков Пожара, — взглянули на него вновь юные лица Марии-Долорес и его самого, мичмана Андрея Елагина . . .

Месть

Он любил ее страстно, безумно, больше себя, больше своей жизни...

Но не виновата была эта маленькая, белокурая женщина, что любовь его, бурная и деспотичная, напоминавшая иногда страсть первобытного человека-зверя, так утомляла.

Любовь — странная и страшная вещь: она толкает людей на глупо-трагические поступки, превращая часто праведника в преступника и мудреца — в глупца.

Очевидно, маленькая блондинка с невинными голубыми глазами вербного херувима, но странно изогнутыми и всегда немного припухлыми губами — представляла для него все в богатой и привольной жизни степного помещика.

Так и было это. Иначе не приходила бы к нему ревность — тяжелая и мучительная, заставлявшая зеленеть от сдерживаемого гнева васильковые глаза и покрываться яркими пятнами нервного румянца ее лицо языческой богини.

Наверное, она была права: — любовь мужчины кажется такой ненужной, такой надоедливой в некоторых случаях.

Итак, ей белокурой женщине с невинными, ясными глазами, но дразнящим и чувственным ртом, сделалось скучно, а ревнивые и грубые выходки мужа скоро заставили ее возненавидеть последнего столь же страстно, как любил тот.

— Убью, если узнаю, что другой любит тебя и получает взаимность... Помни это... — говорил он всегда после рез-

кой ссоры, смотря ей в ясные глаза и напрасно стараясь найти в них искру страсти, которая так властно заставляла его совершить многие безумства.

А она сидела неподвижно, вяло опустив руки, и вздрагивающие ресницы упорно хранили тайну васильковых глаз.

Ловил ее взор, заинтересованный рисунком ковра или носком маленькой туфли, и ронял через стиснутые зубы:

— Помни . . .

Резко поворачивался, выходил с побледневшим лицом, с глазами, отливавшими сталью, и, вскочив на горячего донского жеребца, исчезал на весь день.

Многие приказчики ругались после матерно и сплевывали рубиновую слюну, еще чувствуя на горевших щеках тяжелый перстень хозяина.

Она же медленно поднималась, подходила к окну и долго смотрела на пылающую закатом, сумрачно молчаливую степь. А глаза ее, теперь потемневшие и грешные, загадочно щурились, и она улыбалась разнеженно, уносясь мыслью туда, где весело, много мужчин и где нет унылой, скучной любви собственника.

Когда же на взмыленной и дрожащей лошади приезжал муж, — она лениво сидела в глубоком кресле, небрежно чистя отполированные ноготки, перелистывая какой-нибудь иностранный роман.

На утро он с виноватой улыбкой надевал на ее унизанные кольцами пальцы новую драгоценную безделушку и, прерывисто дыша, осыпал их сухими, палящими поцелуями.

Так дважды приходила и уходила зима. Все злее становились васильковые глаза, и все прихотливее изгибалась маленькая черточка возле пухлых губ. В ее движениях появилась осторожная и уверенная грация хищницы, во взглядах же, которые она изредка бросала на мужа, было много презрительной насмешки.

Все больше мрачнел и хмурился он, и уже редко кто видел улыбку на его потемневшем каменном лице.

Однако, все кончается . . . Кончилась и эта нелепая жизнь двоих, связанных кольцами Любви и Ненависти.

Ранним утром прискакал на тощей лошаденке, придерживая неловко прыгающую шашку, кирпично-лицый урядник. И словно ветром сдуло после его отъезда с окрестных полей всех парней на возрасте, а непонятное, чуждое ранее слово «мобилизация» стало вдруг знакомым и привычным.

Похудевший, вокруг глаз синева, комкая сердито газету с жирными истеричными заголовками, — он утром, неожиданно растягивая губы в улыбку, бросил:

— Дождалась . . . надо ехать. Не скучай . . . но помни, — и привычной грозой сдвинулись брови.

Ее же лицо порозовело, и радостно-удивленно дрогнули пухлые губы.

После того, как последний вагон фронтового поезда мигнул красным фонарем, скрываясь за поворотом, и она вышла с вокзала, набитого толпой сосредоточенных солдат и воющих женщин, на залитую яркими электрическими огнями площадь, — ей сделалось только теперь понятным, что она одна, совсем одна, впервые за два года ненавистной совместной жизни с тем человеком, который своей волей, как хлыстом, заставлял ее подчиняться.

Глубоко вздохнула и засмеялась лукаво, отдаваясь всем своим существом во власть большого города.

Время текло. Порой незаметно, под разрывы снарядов и противный визг крепко жалящих пуль, — порой тоскливо и медленно в угрюмо замолкших, обовшивевших, озлобленных окопах и затхлых блиндажах.

Вначале, почти с каждой почтой, получал он узкие, надушенные письма, которые прочитывал жадно и по нескольку раз.

Но было, видно, много тягостных сомнений, и резкая морщина не раз проходила между бровями. Все же так непохож был нежный запах этих листков на тяжелый, махорочный угар землянки, а то, что писалось там, — слишком отличалось от всего, к чему привык он за месяцы, казавшиеся годами.

И усмешка невеселая, болезненная меняла огрубелое, обветренное лицо.

Он не переставал стремиться всем существом к той, чьим дыханием обвеяны были эти синеватые страницы, но судьба своевольно отодвигала миг этой встречи в Неизвестность.

Наконец, в ремнях, но без погон, толкаясь в непривычно шумливой и развязной толпе неряшливых солдат, провожавших его и других офицеров пристально-наглыми взглядами, он вышел на перрон вокзала, три года назад проплывшего мимо, и уверенность в чем-то неизбежном холодной рукой сжала сердце.

Ее он не увидел. Слушал с застывшим лицом мать и, казалось, не понимал, что, растерянно суетясь, говорила она.

И в комнате той, чей неуловимый запах он еще чувствовал, тонкий, раздражающий, почти спокойно прочитал небрежную записку, лежавшую рядом со скомканной телеграммой:

— Не прощай, — не надо: люблю, но не тебя . . .

Далее быстро, как в кино, промелькнули, чередуясь, картины его жизни: — отступление Добровольческой Армии, бои под Новороссийском, союзный десант, опять бои, презрительные взгляды надменных иностранцев, хождение за визой и неповоротливый, похожий на громадную калошу, транспорт, свободно вместивший в свое брюхо пять тысяч голодных, ненавидящих всех и все, серых людей.

В Париже, пропитавшийся запахом автомобильной гари асфальта и еще чего-то неуловимого острого, свойственного вообще большим и нездоровым городам, преобразившийся

совсем незаметно в рабочего, он привык постепенно к своему труду, в начале утомительному и тяжелому, привык курить приторные сигареты и, небрежно сдвинув полосатое кэпи, тянуть в крикливых кафэ неизменный абсент.

И то, что недавно представлялось важным и самым главным, оставило след в виде широкого рубища на правой щеке, да еще, пожалуй, привычку держать себя напряженно — готовым ко всему худшему.

Но хотя и забылось все, испытанное за пять лет непрерывной сумбурной войны, — не могли исчезнуть из сознания васильковые глаза и капризная черточка возле пухлых губ.

Вернувшись вечером в свою комнату, еще ощущая тяжесть острых ребер декораций того варьетэ, где давали работу ему и таким же, как он, жадно втягивал раздувающимися ноздрями щепоть легкого, девственно-белого порошка и, закрыв глаза, любовался женщиной, покинувшей его для других.

И все чаще и чаще насмехающиеся образы этих других, обладающих теперь ее телом, улыбкой, а может быть, и душой, властно входили в его череп, сверля и раздражая распаленный мозг... Тогда пальцы впивались в ладони, и глаза опять напоминали сталь.

Уже пролез занавес вниз, обрывая пьяный шум зала, и, сердито ругаясь, переставляли декорации рабочие в синих блузах. Бегал суетливо толстый директор, похожий на евнуха, — новая звездочка, исполнявшая далеко не скромные танцы, оказалась любовницей всемогущего финансиста, и сегодня следовало позаботиться об удобствах того в уютной уборной танцовщицы.

Шурша шелком воздушных юбок, небрежно показывая перемигнувшимся рабочим голую, напудренную спину, звездочка пробежала мимо пыльных, колыхающихся декораций.

Качнуло его: — голубые, теперь сильно подведенные глаза той были знакомы, точеный же профиль уверил в том, что сказало трепетавшее сердце.

Стиснул зубы . . .

Медленно подошел к некрашеной двери с табличкой. Уродливая тень прежней издевки секунду оставалась на худом лице, но усилием воли стер ее и, похожий на спокойного, надавил ручку.

Женщина морщилась, озабоченно поднимая разлетающиеся капризные брови: — заметно синели три отпечатка дерзких пальцев у розового локтя, губы же улыбались, вспоминая нечто сокровенное, влекущее к себе и вызывающее желание страсти.

Изумленно открылись голубые глаза, заметившие фигуру человека в блузе, неподвижно приникшую к стене . . .

Не спросила: — холодный, все еще памятный взгляд серых глаз ответил на ужас ее расширившихся зрачков.

— Это вы . . . ты . . . что ты хочешь? — и, жалко дрогнув лепестками-губами, опустилась на пушистый ковер, неотступно смотря на того.

Щелкнул резко ключом, с гримасой, которая бывает видна только в плохих зеркалах.

— Ну . . . вот и встретились . . . а помнишь ли ты ? . .

Опять то, заставлявшее думать о маленькой женщине, нахлынуло на сознание, и не хотел противиться этому человек, спаленный своею любовью . . .

Разрывая карман, выдернул Лугер, подарок боевого товарища.

Накрашенные чувственные губы женщины задрожали в томительном ожидании.

Окруженные тенью театрального грима, ее небесные глаза, казалось, потонули в бездне отчаяния.

Но . . . насмешка, прежняя, дразнящая, вновь появилась неожиданно на ее лице, исковерканном страхом.

Она начала смеяться. Сначала едва слышно. Затем все громче и громче. Теперь она истерически хохотала, кусая кружевной надушенный платок.

Вероятно, среди его бешеной слепой ярости выступило нечто другое, совсем не страшное для нее, потому что, охваченная новым порывом неудержимого смеха, она бессильно повалилась на спину.

По детски болтая в воздухе стройными ногами в тугом черном шелке, она до крови кусала губы, тщетно пытаясь удержать свой безумный, невероятный смех.

Наконец, вздрагивая и задыхаясь, впилась злыми и позеленевшими глазами в его растерянное, бессмысленное лицо. Сощурилась высокомерно на тяжелый пистолет и бросила раздельно:

— Дурак ! . . Боже, какой . . . болван ! . . Тебя всегда можно было лишь презирать ! . . Иринушка ! . .

Из-за ширмы неслышно вышла худенькая испуганная девочка с огромными серыми глазами и лицом, совершенно похожим на него.

Оборачиваясь к ней, женщина сказала спокойно:

— Ирина, подойди . . . поцелуй твоего отца . . .

Где солнце целует горный снег

(Из романа «Высоты»)

Плоскогорье Памир. 5 мая 1927 г.

Дорогой друг!

За стенами глинобитной нашей хижины метет злая вьюга. На Памире, на высоте двенадцати тысяч футов над уровнем океана, нет времени года. Всегда зима . . . И снег голубым ровным слоем вечно лежит на этих характерных, плоско и равномерно вздымающихся, словно волны каменного моря, колышащихся в одну сторону почвенных наслоениях. Эти однообразные гряды — волны и образуют собой плоскогорье Памир — Крышу Мира, как поэтически называют его жители гор.

Когда здесь дуют угрюмые ветры, поднимающие вихрями ледяную крупу и новый снег с пустынной и голой поверхности кряжей Кокуй-Бела, и когда низкие, низкие гряды бездомных туч быстро ползуть по серым, ватным небесам, проходя сквозь скалистые пики ближайших вершин, то лучше путнику не пытаться совершить свой положенный дневной переход. Недобрые духи гор — Злые Яу — не допустят дерзновенного смельчака до конца его пути. Резким, внезапным дуновением одного из грозных и безжалостных Яу сметен будет нечестивый пришелец с едва заметной ни-

точки-тропы, и его изуродованный, бескостный труп долго будет прыгать внизу по острым ребрам бездонной пропасти...

Не ходи, чужестранец! Не пытайся, маловерный, своей жалкой и слабой волей преодолеть вечный и всемогущий закон горных богов... Закон этот гласит:

«Ты смертный! Ты слабый! Ты незнающий!.. Не стремись, о слепорожденный, тупым упорством и насилием проникнуть в тайны Матери-Природы... Насилием не подчинишь себе знание. Только постепенно, шаг за шагом, работой сердца своего и мысли своей ты, рожденный в смерти, заронишь первые искры знания в темноту твоих незрячих очей... С вспышкой первого робкого Пламени Знания придет Благоговение перед Бесконечным, и Оно даст тебе силу прозреть... Прозревший, ты, рожденный некогда во тьме, сквозь мглу и могильный холод самой неслыханной, самой ужасной бури смело и уверенно пройдешь к цели... Ты достигнешь ее...»

Я вспомнил это поверье жителей снегового пояса плоскогорья. В нем грубое суеверие невежественных горцев странно соединилось с крупицей истины древних великих мудрецов Индостана.

Я прислушался... И угрюмые голоса злых Яу послышались мне в вое ветра...

Я-Дзе сидит на корточках перед несмелым и длинным пламенем камелька. Огня мало, а дыма много. Топливом служит кизяк, сушеный помет яков и коз Я-Дзе.

Сам Я-Дзе стар. Очень стар. Кто знает, сколько суровых, ушедших в прошлое зим исчертили его лицо глубокими морщинами... Царапинами мудрости называют их горные жители. Что ж, пожалуй, правда! Жизнь прожить — не поле перейти, — говорит и наша старая пословица. А Я-Дзе прожил долгую жизнь. И долгую и тяжелую. И если от вереницы лет, взятой Я-Дзе от жизни, побелели его волосы и

печеным яблоком сморщилось лицо, от тягот минувших, прошлых дней заставили низко согнуться его когда-то широкие плечи и глубоко запасть внутрь коричневые щеки худого, острого лица.

Я-Дзе — китаец. Как я узнал, тридцать лет обитает на Памире. Почти забыл свой родной китайский язык; говорит на местном наречии, как туземец.

Турсун-Бай, мой проводник, кара-киргиз, подобострастно и преданно хлопал меня по плечу вчера ... Клялся и своим Аллахом и всеми духами гор, что старый Я-Дзе точно знает, где расположен забытый монастырь Брахмадата, что отшельники почитают старого китайца, и что Я-Дзе не простой пастух, а будто бы в прошлом мандарин, княжеского рода, главный библиотекарь самой могущественной императрицы Тсу. За какие-то серьезные провинности Я-Дзе, якобы, от ее испепеляющего гнева бежал из столицы Небесной Империи сюда, в глухие дебри плоскогорья.

— А-иа ! .. А-иа ! .. Господин ! .. О, он мудрый! Он мудрый человек! — вращая белками черных южных глаз, шопотом убеждал меня Турсун, оглядываясь на спину неподвижного Я-Дзе.

— Старик — колдун, господин. Клянусь Магометом, он, может быть, даже сам Шайтан! — Турсун три раза поспешно постучал костяшкой среднего пальца о колено: отогнал злых духов прочь.

— Он может ... — еще тише продолжал Турсун, — мне это Селим-джигит рассказывал, господин. А Селим своими глазами видел ... только давно ... он может ... по ... воздуху летать ... — вдруг выпалил проводник и замолчал, занявшись разборкой вещей.

Я-Дзе подбросил в очаг немного топлива и встал. Согнутый годами, завернутый в овечьи шкуры, старик удивительно напоминал ветхозаветного пророка. Вероятно, таким же

покоряющим, волевым светом из-под седых нависших бровей горели и глаза древних провозвестников будущего.

Он молча протянул мне кусок овечьего соленого сыра. Странные и пристальные глаза пастуха смотрели внутрь моего существа.

Подобный же самоуглубленный, оторванный от жизни взгляд я видел около Бенареса год тому назад у старца, которого туземная молва нарекла великим мудрецом и целителем.

Глухой, тяжкий грохот мощной мягкой волной раскатился снаружи. И тотчас же неудержимый ветер с треском распахнул жидкую, из тонких брусьев сбитую, сухой кожей обтянутую дверь. Ледяная струя внесла в хижину облако мелкого, колющего иглами, твердого снега.

Грохот обвала постепенно удалился вниз по долине реки Мус-Кол. Лавина, стремительности необычайной, ибо и крутизна горных склонов в некоторых местах невероятная, сокрушая все на пути, скользнула в низины. Густые молочные клубы легкого снега и тумана прихотливо свивались над ее грозной дорогой.

Я накинул меховой монгольский халат и вышел наружу в бледную мглу рассвета. Снеговые плотные тучи, гонимые ветром, быстро неслись к западу. Последние звезды, мерцая, угасали на зеленоватом небосклоне. Воздух пах влажно-пьянящим озоном. Я дышал легко и свободно.

Под лучами еще невидимого солнца алмазной пылью блестели склоны кряжей Кокуй-Бел. Среди них в двух переходах от нас усеченным конусом вздымался потрясающий громадой пик Кара-Кул. Резкие лиловатые тени пятнали глубокие ущелья и долины на склонах его. Беспорядочные нагромождения горных цепей, как стада неведомых доисторических животных теснились вокруг этой священной горы кочевников Памира.

Я стоял неподвижно. Утихающий, но все еще резкий ветер рвал полы моего тяжелого халата. Мысли . . . Все те же мысли о пережитом опять назойливо зароились в сознании. Шесть лет . . . Шесть лет отодвинуло в невозвратное прошлое, друг, те события, и многих участвовавших в них уже нет в этом призрачном суетном мире. Очень многих . . . Ненавидивших и ненавидимых . . . Любивших и любимых . . . Но как безмерно ярки и живы в моем беспокойном сознании образы этих людей . . .

Помнишь ли ты, Дмитрий, черный пламень глаз Гюльнар-Ханым ? . . Ядовитую, резкую складку губ старого Ян-Ду-Дзюна ? . . Не видишь ли временами в бредовом ужасе ночных сновидений недвижную, каменную маску лица его преподобия отца Андрэ ? . . А хрипение и скрежет добиваемых там, на каменных плитах губернаторского ямыня в Урге ? . .

Все это было и все прошло. Рассеялись, рассыпались в Неведомом многие из этих жалких актеров-марионеток на сцене, именуемой Жизнью Человеческой . . . И теперь, стоя здесь, на высотах, на Крыше Мира, не в силах отогнать я ненужные думы мои. Здесь тишина и спокойствие. Здесь ритмично колышется Дыхание Вечности. Здесь хорошо. Как хорошо здесь ! . .

Отчего же нет во мне самом спокойствия души ? . . Как пленная птица, бьется она о железные прутья незримой клетки. И, израненная, истекает, сочится горячей кровью . . . Это мучительно. Ты знаешь это чувство, Дмитрий? Ты был тогда со мною и за это сейчас расплачиваешься страданиями духа. У тебя «бунтует совесть», как говорят у нас в России . . . Не правда ли? От нее, от бунтующей и казнящей совести, нет защиты, нет спасения . . .

Я вздрогнул. Чья-то костлявая рука легла на мое плечо. Я-Дзе стоял рядом. Старик улыбался, молчаливым жестом приглашая меня посмотреть вниз. Редкие косматые тучи,

растерзанные последними рывками урагана, понеслись прочь от нас к голубеющим в оранжевой дымке восхода далеким грозным кряжам Кара-Булака. Одним краем касаясь изломанной линии вершины недалеких гор, рдело алое раннее солнце. Покров на Кара-Куль начал розоветь, словно нагреваясь и теплея. Утро разгоралось.

— Смотри! — сказал старый пастух повелительно на гортанном горном наречии.

— Смотри туда . . . Взошло Светило, и тьма, побежденная сиянием его животворных лучей, послушно ушла. Смотри, лишь в глубоких низинах гор ее царство. Но подожди . . . и оттуда исчезнет она, едва солнце достигнет своего зенита. Ты, путник, идешь медленно. Медленно, да ! . . Однако, ты на верном пути . . . Путь труден . . . Восхождение идет по крутой, обрывистой тропе, но крепись, будь смел и настойчив . . . Не давай мыслям о темном прошлом размягчать сомнениями твою душу; омытая раскаянием и страданиями, она должна остаться чистой и спокойной, чтобы принять Истину . . .

Старец поднял опущенную голову, и из-под нависших седых бровей горящий луч его волевого взгляда, казалось, пронзил меня насквозь. Я отвел свои глаза.

— Ты идешь на Восток . . . Там, на Востоке, встает каждое утро наше Светило. И там, на Востоке, впервые после Великой Воды взошли семена Истины, посаженные немногими Отцами-Хранителями . . . Ты хочешь найти тайные записи . . . Ты найдешь их. Больше того, живые уста расскажут тебе и объяснят непонятное. Легкими стопами иди, пришелец, отсюда по этой тропе вниз, на Восток. В двух днях пути, в той долине, у реки Мус-Кол, ты увидишь на взгорье ламаитский монастырь. Тебя встретит настоятель. После отдыха ты будешь проведен дальней и трудной дорогой, через палящие зноем пески древней пустыни Такламакан до пряных Болот Лотосов . . . Там, на острове, в белом мраморном Храме Молчания, великий учитель посвятит тебя в Истину . . .

Старик коснулся сложенными пальцами моего лба.

— А теперь иди с миром, пришелец. Не позволяй черным мыслям омрачать твоего сознания. Будь счастлив и бодр! ..

Пастух низко склонился передо мною и, не оборачиваясь, медленно удалился к плетеной изгороди, где блеяли наперегонки давно пробудившиеся овцы и мычали басами яки.

Через час я и мои джигиты спустимся по извилистой тропе в долину. Там это послание мое перешлют через десяток-другой оказий до ближайшего цивилизованного пункта, и через полгода, если обстоятельства позволят, ты его получишь.

А я? Где буду я в это время, друг? .. Куда занесет меня волею неведомых сил? Будут ли это силы злых духов гор, грозных Яу? .. Или, наоборот, дружественные, благие посланники небес сохранят и доведут меня, неутомимого путника, до пристани Спокойствия и Счастья? .. Увидим...

Будь счастлив, Дмитрий.

Всегда твой друг, Глеб Зотов.

Сказ таежный

Лес шумит...

Потемневшие мрачные стволы, зеленые и влажные от двухнедельного почти непрерывного дождя, раскачивались с тихим унылым скрипом.

Свинцовые волны Катунь-реки с вкрадчивым ропотом плескались в глинистые вязкие берега...

И заснула обычная лесная жизнь, замолчала в угоду нахмурившемуся сизому небу...

*

Их было трое...

Трое, связанных так крепко общей враждой к закону — неумолимому и страшному, заставлявшему их вот уже в течение нескольких месяцев упорно избегать проездных людных дорог...

Старший — Грач, признанный вожаком по молчаливому соглашению двух остальных...

Всегда угрюмый и замкнутый, с перекошенным глубоким шрамом лицом, скрытым на три четверти густой черной бородой, он был человеком, созданным повелевать, и за власть готовым слепо бросить и свою жизнь и жизнь того, кто осмелится стать поперек его пути, на капризно колеблющиеся весы Рока...

Второй — «Рыжий» — ехидный, озлобленный на всех, кроме себя.

Его череп, бритый наголо и вдавленный около ушей, с резко выступающими затылочными костями, выявлял злое, бульдожье упорство. Единственный глаз крысенком бегал под нависшей огненной бровью и нередко останавливался на мокрой фигуре чернобородого с осторожным вниманием.

Судьба выработала из Рыжего хладнокровного расчетливого убийцу — охотника, готового следовать по пятам своих жертв долго и неутомимо.

Он ходил «во многих душах» и, признанный невменяемым, избежал веревки...

«А черепочки маленькие... а я их топориком... а они — крак, крак», — беспокойно вертясь, рассказывал Рыжий в камере.

И хихикал, подмигивая... и кривлялся нервно...

Боялись одноглазого многие из тех, которых, как и его, там, в забытом, занесенном почти полгода снежными сугробами онгудайском остроге, стерегло много людей в серых шинелях с винтовками, умеющими больно и остро кусать.

Но боязнь вызывает затаенную, глухую ненависть, и поэтому, когда Рыжий, неловко и широко расставляя ноги, скованные гремящими кандалами, переваливаясь уткой, шел по тюремному двору, многие провожали его взглядами, что-то уж слишком пристальными и неподвижными.

Солдаты же нервно перебирали затворы винтовок, и лица их, тупые и сонные до тех пор, принимали вдруг беспокойное и осмысленное выражение.

Он, чувствуя их страх, намеренно косолапил отягченные железом ноги, глубоко затягивался смрадной махоркой, поцмыкивал зубами и хрипло ругался...

Так продолжалось до появления в остроге человека с сине-черной бородой, имя которому было: Грач...

Он, высокий и мрачный, невольно и сразу подчинил себе всю камеру, хотя лениво цедил слова сквозь зубы, смотрел

невидящими глазами куда-то поверх заискивающих подобострастных лиц.

Однажды, Рыжий, оскорбленный исключительным невниманием, затеял ссору с чернобородым, уже сжал свой костлявый кулак, покрытый веснушками и рыжей шерстью, хотел, размахнувшись, ударить того в переносицу, но, подкинутый какой-то силой, очутился на заплеванном, загаженном полу . . .

Согнулся нелепой дугой, сжимая голову и судорожно выплевывая кровавую густую слюну.

Вся камера дрожала от грубого хохота наслаждавшихся жалкой фигурой Рыжего, еще недавно внушавшего такой беспричинный страх.

А тот вобрал глубоко в плечи огненную голову, медленно поднялся и, впившись единственным глазом в спокойного чернобородого, просипел с удушливой ненавистью:

— Ладно . . . погодь . . .

*

Ярче, горячее стали лучи солнца, и с их теплотой пришла весна.

Острог тяжело чувствовал весну. Тела большей частью здоровых сильных мужчин тосковали в тесных камерах, требовали властно солнца, свободы, резких и порывистых движений . . .

Зимой арестанты громко и весело перекликались с каторжанками во время кратковременных, обжигавших морозом прогулок. Слышали в ответ игривые, иногда грубые бабьи ответы.

Но теперь горячие, палящие лучи солнца наполняли головы арестантов тяжелым мучительным дурманом, и не слышно стало ни разговоров, хлестких и циничных, ни зло-веселых шуток.

Волчьими, пристальными взглядами шарили каторжане по стенам острога. И каждый старался не встречаться с глазами другого, в которых так ясно отражалась упорная мысль его самого.

Мысль о свободе... Мысль, насыщенная запахом леса, наполненная манящим гулом быстрых сибирских речек, клубящихся по камням и ущельям сизых гор.

Тайга с ее величавым и властным шопотом лиственниц и шуршаньем осыпающейся хвои, с вечно загадочной жизнью птиц, мягким летом проносящихся через солнечные поляны, покрытые буйной могучей травой, заполняли их сознание первобытных людей-зверей.

Страшным делался каторжник, оторванный от своей мечты насмешкой или неосторожным движением товарища. Тогда долго возился по камере спутанный клубок человеческих тел, слышались глухие отрывистые удары по телу, по лицу...

А камера звенела цепями и хохотала злобным, захлебывающимся смехом.

Это пришло неожиданно: то, что для некоторых должно было стать неизбежным и роковым.

Так спокойно и ясно светило весеннее солнце, и маленький тюремный двор, посыпанный свежим хрустящим гравием, казался таким уютным и радостным. Арестанты вяло раскидывали последнюю кучу песка, забрасывая блестевшие на солнце лужицы и старательно обходя чуть пробивающуюся нежную траву. Чернявый, рябой солдат в топорщившейся коробом вытертой шинели обхватил обеими руками винтовку и, щурясь на ослепительное солнце, неторопливо ладил самокрутку. Большие, костлявые лошади сосредоточенно хрустели овсом и пофыркивали довольно в надетые на морды торбы. Нахохлившийся старый воробей боком, не торопясь, подпрыгнул к просыпавшемуся зерну у ног одной

и, недоверчиво посматривая вокруг, подбирал блестящий крупный овес.

Задумался чернобородый, опершись на лопату. И какая-то мысль, очевидно, настойчивая и беспокойная, мелькнула в темных глазах. Нервной судоргой свело его лицо с красным шрамом. Выпрямился мгновенно и вдруг отрывистым, упругим движением опустил тяжелый казенный заступ на голову рябого солдата... Охнул слабо солдат в вытертой шинели и, лязгнув винтовкой, упал неловко и смешно, подвернув под себя ногу в порыжелом неуклюжем сапоге, а вокруг головы его ширилось и расползалось кольцом темное, красное пятно.

Свирепо закусив губы, с винтовкой, тускло сверкавшей примкнутым штыком, бросился Грач к темному проему ворот, успев выхватить взглядом из растерянно шарахнувшейся в сторону толпы дико кричащих арестантов две согнувшиеся фигуры: Рыжего, упавшего, запутавшись в кандалах, но сейчас же вскочившего, и коренастого, придурковатого парня — Фомку. Они, сопя и ругаясь, поспешили за ним.

Безусый унтер с бледно-землистым лицом дрожащими прыгающими руками силился отстегнуть револьверную кобуру... Толстый надзиратель злобно, сосредоточенно наносил удары шашкой плашмя по сгрудившимся стадом арестантам.

Сзади четко рассыпалось несколько беспорядочных выстрелов, и пули с противным сверлящим воем, чокая о ближние стены, пронеслись над головами беглецов.

Напрямик через базар городка, опрокидывая все на пути, разгоняя своим видом голосящих торговок, бежали они... Бежали к реке, сверкающую бликами пелену которой видели внизу. Дышали тяжело и шумно, но сквозь бледность их лиц проглядывала великая радость освобожденных. Подперев плечами лежавший на берегу рыбачий челн, вдвинули с силой в забурлившую под его носом воду, и весенние пол-

ные воды Катунь-реки понесли трех к синеющим горам, к шумящей тайге, к свободе...

Жадно вдыхали беглецы мягкий воздух. Движения их приобрели твердую уверенность.

Двое суток плыли они, спускаясь вниз по Катунь-реке, к приближавшимся неуклонно горам. Плыли по ночам. Днем же, спрятав в прибрежную осоку свой челн, ловили рыбачьим бреднем крупных тайменей, предавались отдыху и, лежа, мечтали о конце трудного и опасного пути.

Злопамятный Рыжий ничем не выдавал таившегося в глубине его души воспоминания о нанесенной когда-то Грачем тяжелой обиде, но было нечто в его ухватках, по-прежнему беспокойных и вкрадчивых, заставлявшее чернобородого держаться постоянно на-чеку. Рыжий же, чувствуя недоверчивый и порой тяжелый взгляд Грача, подобострастно восхвалял мысль о побеге, угодливо, с ужимками соглашался с ним во всем, сыпал прибаутками и хихикал екающим дробным смехом.

— То-ись, как это ловко вышло... А, братан?.. То-ись, как ты его, солдатика-то... лопатой долбанул... Только, как мышь, пикнул сердечный... Н-да...

А глаз его пытливо и ищуще перебегал в это время с лица чернобородого на лицо Фомки.

— Одна беда, братики, пулек у нас мало, а без пулек и винтовочка не нужна... А без винтовочки и нам, пожалуй, каюк придет... А?

— Хватит, около сорока, а я, ведь, охотой до каторги промышлял. Пулей белку в глаз когда-то садил... — хмуро процедил Грач и замолчал могилой, разминая и подвертывая портянку.

— Вот у Фомушки солдатский наган есть, да что в нем корысти-то; городская это штучка, и сноровка опять-таки нужна с ней.

— Патронов, дядька, зато достатком есть, — загудел Фомка, неумело вертя тяжелый солдатский револьвер, с довольной улыбкой на глупом лице.

— Па-а-т-ронов! — неожиданно вскипев, завизжал Рыжий. — А на кой дьявол тебе, лешаку, патроны, коли ты, дубина, с им обращаться не умеешь? Подай его сюда . . . Слышишь, что я говорю тебе ? !

И, вырвав револьвер, внимательно осмотрел его, повернув несколько раз пузатый барабан.

— Ну, а патроны, Фомка, гони мне, — тихо и раздельно заявил Грач и внимательно исподлобья взглянул на Рыжего.

Встретились на мгновение взгляды двух и сейчас же разминулись; глубокой насмешкой блестели глаза чернобородого, а ответом со стороны Рыжего был взгляд, полный ненависти.

Зажглись первые звезды над нахмурившимся лесом. Шелестели, словно вздыхая о чем-то невозвратном, исполинские дубы, и стройные кедры осыпались пахучей хвоей, устилая свое подножье смолистыми иглами. Загадочно посинела Катунь-река, здесь уже медленно несущая свои глубокие воды, и только изредка проворная форель нарушала торжественно монотонное шуршание тайги неожиданным всплеском.

Потянулся крепко Грач, расправляя широкие плечи, зевнул, — даже за ушами больно стало, — улыбнулся чему-то и, добродушно ударив по спине испуганно привскочившего Рыжего, заявил:

— Идти нам на большие дороги не след . . . Мужичишки выдадут. Не любят они, ведь, нас, варнаков . . . А я вот что думаю: есть тут у меня на примете место одно, верст на сорок еще к горам податься надо. К тем, что вон там за рекой синеют . . . Промеж двух гор высоченных, в ущельи, где река, как зверь лютый, пенится, лужаечка есть, почитай, вот с эту; цветки-самоцветы там и сям. Да не в них дело-то . . . А

в том, что ежели, ребятки, фарт нам настоящий выйдет, людьми, может статься, будем... Да какими — миллионщиками... Вроде купцов Сабатеевых... Слыхали, надо думать, про таких. На всю Сибирь лет десять тому назад известны были. Людишки трепетали, что из варнаков, якобы, вышли... Из таких... Вроде нас... А разжились через золото. Место нашли богатеющее. «Карман», одним словом, копнешь — самородок чуть не с кулак... Ну и вышли в люди с тех пор. Про такое место и я с вами речь веду. И много его там, куда вас повести хочу... Но...

Замолчал Черный, понурившись. Жесткая усмешка углубила морщины на его обветренном, резком лице.

— Но... тебе я это говорю, Рыжий, особливо, не должно быть промеж нас места для зависти, али споров каких... И теперь первого из вас обоих, кого замечу в чем... Ну, да знаете, братишки, меня...

И он пошевелил узловатыми руками своими, похожими на потемневшие речные коряги.

Глупо смеялся Фомка, широко открывая большой рот свой, и гадливым мелким смехом рассыпался Рыжий. А глаз его, беспокойный и ехидный, блестел теперь мягко и умиротворенно.

— Плыть надо будет туда на плоту, — обмелела Катунь-река, да и пороги небольшие встретиться должны. Челнок же затопим на этом месте. Обратно возвращаться будем, достанем...

— Завтра все сварганим, — заявил Рыжий, благостно улыбаясь. Зевнул и закрестился маленькими крестиками. — Ох-хо-хо... и на боковую пора...

Завернулись трое людей в серые арестантские бушлаты. Неровное прыгающее пламя догорающего костра порой судорожно освещало их темные скорченные фигуры, порой приниженно и дымно стлалось по земле. И тогда по-прежнему надвигался черной стеной молчаливый густой мрак. Но вот

мигнула, догорая, последняя ветка, и заглох костер, рдея багровым жаром.

Затихла и тайга торжественная, величавая. Вяло и вкрадчиво пошевеливали слабые порывы весеннего ветерка листья вековых деревьев. А звезды перемигивались, дрожа узорчато в черных водах Катунь-реки.

Утром же, когда солнце облило расплавленным золотом верхи стройных суровых елей и пихт, предрассветный холод своим дыханием разбудил беглецов. Несколькими сильными ударами топора был затоплен челн. Тихо, бессильно дрожа ветвями, склонились подрубленные у корня елочки, предназначенные для плота.

Быстро и споро закипела работа. Грач и Фомка обрубали ветви со стволов. Рыжий же, стоя по пояс в прозрачной, студенной воде, старательно обматывал их, присоединяя друг к другу, зелеными, гибкими жгутами, свитыми из молодого прибрежного лозняка.

И когда горячее, почти летнее солнце стояло высоко в синем небе, законченный плот покачивался в тихой заводи, и вода с ласковым журчаньем-лепетом обтекала его смолистые бревна.

Вскоре могучие, стремительные воды Катунь-реки понесли плот беглецов вперед... к цели... к золоту...

*

Мимо невысоких берегов, заросших сплошь зеленой чащей осоки, тростника и камыша, мимо болотистых заводей, мимо песчаных отмелей, покрытых табунами спесивых гусей, неуклюжих уток-крякв, суетливых и крикливых бекасов, куликов и прочей дичины, мимо глинистых обрывов и красных ржавых валунов несло самотеком течения плот беглецов.

Незаметно сходились тесные берега Катунь-реки, и торопливые воды ее, сдвинутые поднявшимися скалистыми грядами, ускоряли и без того нетихий бег свой.

Уже ревела зверем теперь, бурлила зловеще река, взбивая белую пену у неожиданно и коварно выступивших серых гранитных скал...

Скрипел жалобно плотишко беглецов, и власть бешено несущихся вод, казалось, была сильнее воли троих людей.

Мрачен Грач, и перекосилось лицо его судоргой усилия. Навалившись всем крепким телом на рулевое весло, Грач старался направить плот по средине русла.

Потный, равнодушный Фомка, неуклюже раскорячась, стоял на корме. Но гнулся и трещал под его медвежьей хваткой прочный дубовый шест. На опасных местах он ухал протяжно и скверно ругался, сбрасывая ладонью пот с низкого лба своего.

Рыжий, бумаги белее, волчком крутился по плоту, всегда поспевая на смену и помощь усталым товарищам.

— Эй, бери глаза в зубы!.. Пошевеливай, братишки! Пошевеливай веселей, кандальные души!.. — подгонял Грач, вселяя густым басом веселящую бодрость у Рыжего и Фомки.

— Поднапри, поднавались, ребятишки, конец скоро порогам должен быть. А там и место наше...

Оставались постепенно позади крутые, нависшие теснины скал. Отодвигались в стороны, уступая и освобождая дорогу стремительным водам Катунь-реки. Исчезало понемногу то белесое кружево пены, признак скрытых неглубоко под водой коварных камней, и те нежные, едва уловимые глазом струйки на поверхности — верное указание на существование отмелей и перекатов. Медленнее пошло течение, медленнее понесло и плот; не рывками швыряло его в стороны, а осторожно поворачивали кругами утихшие, словно обессилевшие зеленые воды Катуни.

Грач расправлял усталые плечи, подставив косматую грудь навстречу ветру, неумолчным рокотом пробегавшему по верхам таежных деревьев. Здесь опять густыми смутно-синеватыми стенами таинственно и безмолвно стояли они по обеим далеким сторонам реки.

Ухмылялся Фомка всем скулистым прыщеватым лицом. Именинником похаживал по плоту Рыжий. Весело и хитро поблескивал единственный глаз старого каторжника. Медом растекался он перед подобревшим, спокойным Грачом.

Однако, шевелились непрестанно рыжим пухом поросшие пальцы, и глаз его пытливо, неотрывно наблюдал за чернобородым, свободно, словно играючи управлявшимся с тяжелым шестом. Глаз Рыжего, затаясь, ничем не выдавал мыслей своего хозяина . . .

*

Темнело уже, когда плот подходил к месту, указанному Грачем. Хмурилось что-то небо синеватыми тучами, багровела кровавая полоса заката. Плот медленно подплывал к неведомому берегу, к заповедному месту.

Странное и мрачное было это место. Здесь пологие волнистые холмы неожиданно переходили в крутые и высокие массивы. Словно чьею-то мощною рукою бесконечно давно беспорядочно брошены в кучу эти громады острых скал. И угрюмо взметнулись они к молчаливым равнодушным небесам, устремляя кичливо ввысь свои рваные, тускло блестящие грани.

Гола и пустынна их поверхность, и только в неровных изломах-излучинах неярко зеленели пятна мха, да, уродливо скривясь, бессильно поникнув в бездну, несколько низкорослых елок смотрелось в воды реки.

Полукругом вдавалась в эти скалы Катунь-река. Веками терпеливо лизали ее воды гранит скал, пока они, побежденные, не отступили покорно назад . . . И теперь глубоким за-

ливом обтекали темные струи их когда-то монолитное, но теперь рассыпающееся в песок подножие.

Уверенно направил Грач плот к небольшой площадке из мелкого песку, прибитого и укатанного струями реки. Беглецы выскочили на песок, торопясь... Искристо отливали радужными цветами мельчайшие осколки кварца и шпата... Здесь!..

*

Четыре месяца оставались трое людей на месте, сохранившем в гранитных недрах своих желтый и мягкий, и тяжелый металл.

Неутомимыми кротами врывались беглецы в золотоносную породу, и наградой их терпеливому труду было постепенное прибавление мелких угловатых, иззубренных, искрошенных временами крупинок, отливавших густой охристой желтизной.

Заботливо хранились они, эти осколки-кристаллы, в рыбачьем деревянном сундуке, оклеенном цветистыми картинками...

Кончилось лето, и на смену сочной, густой зелени пришел багрянец осени.

И много отмерших, увядших листьев краснело на фоне тайги. С нежным шорохом трепетали они на ветвях полуобнаженных деревьев...

Не так горячи стали косые лучи солнца, и быстро надвигались сумерки. Укоротился день. Глубокая синева неба приняла холодный, стальной оттенок. Отрывисто, едва слышно поскрипывали высокие треугольники гусей. Деловито колыхаясь, направлялись стаи птиц к югу. И чаще слышался угрюмый рокот холодного ветра в ветвях деревьев.

Много ям и уродливых впадин зияло крутом. Много золота вырвали чужие руки людей из недр земли.

Но больше хотели люди... Неустаннее и жаднее вгрызались они в веками нетронутую почву. Часто порывисто нагибался кто-нибудь один из троих. Дрожащими от нетерпения и лютой жадности руками, закорузлыми негнущимися пальцами счищал комья породы; тогда на растрескавшейся заземлелой ладони отливал тусклым неверным отблеском небольшой желтый осколок.

Воровски озирался человек, осчастливленный находкой, и торопливо совал самородок за пазуху. А другие в это время злобно скосив глаза, не отрываясь от работы, с ревнивой завистью следили за прыгающими бестолково руками счастливца. Вели мысленный счет найденным самородкам, хотя и знали, что на три равных части будет разделена добыча перед отходом, и каждый понесет свою треть в котомке за спиной, согнутой под золотым бременем.

Прошло время, и наполнился до краев сундучек с цветистыми картинками.

Однажды у костра, где бурлила сердито уха в закоптелом котелке, Грач сплеснул пухлую, серую пену на шипящий красный жар углей, медленно поднял покрасневшее от огня лицо и, уставив твердый немигающий взгляд на Рыжего, выговорил нехотя и лениво:

— Н-ну, будет... Будет, говорю... Завтра и выходим!..

Ничего не сказал Фомка; чистил сосредоточенно винтовку.

Ни слова не вымолвил и Рыжий, растиравший на курево сухие листья дикой вишни. Но живчиками забегали мускулы по его бурым щекам. Засопев, сказал спокойно:

— Ну, гляди сам... Тебе виднее! Начальник... одно слово...

Внушительно кашлянув, Грач продолжал бесстрастно:

— Завтра утречком, чуть ни свет, ни заря уходим отседова... Хватит с нас золотишка пока... И то еле утащить каждому из нас... Поди, фунтов по тридцать на рыло.

Загоним золотишко, «липы-паспорта» выправим себе купецкие, тогда и заявочку сделать можно будет...

Рыжий ответил твердо и почтительно:

— Правильно, завтра утречком и выходим...

Фомка молчал.

*

Путь держать решили напрямик, удаляясь от реки. Туда, через тайгу и Нарымские горы, к широким просторам Барабинской равнины, где проходит главный торговый тракт, где богатые сибирские села и деревни.

Шли гуськом осторожной, скользящей, чуть припадающей поступью таежных хищников. Впереди уверенно и свободно, с винтовкой, перекинутой через одно плечо, шел Грач; не согнула его квадратных плеч котомка с драгоценной долей. Ровно дышал он широкой грудью, и не блестело ни капли пота на его коричневом обветренном лице.

За Грачем так же легко, немного сгорбившись, скользил Рыжий. Позади брел, по медвежьи ломился Фомка; сырому, огромному парню приходилось труднехонько. Он часто вздыхал, ругался и слезливо Христом Богом тщетно просил путников убавить шаги.

За день проходили верст сорок. По ночам молча ложились поближе к потрескивающему пламени костра. Пошевеливали занемевшими пальцами усталых ног и, не моргая, бездумно смотрели на далекие звезды. Молчали больше. Усталость сковывала своими тяжелыми цепями их выносливые тела, привыкшие ко всему...

Постепенно снизились Алтайские горы. Тайга переходила в мелкий, невысокий перелесок. Росла только лиственница. Чаще встречались пожелтевшие, усеянные скатанными трубочками сухих листьев прогалины полян у лужаек. Ровнее стала местность. Быстрее подвигались путники.

— Низами пошли, кончились горы, кончилась тайга-матушка! — с удовлетворением сказал Рыжий вполголоса.

Смотря на степь, бескрайнюю и унылую, чуть колыхающуюся волнами почти незаметных холмов, с примятою осенними ветрами ржавою травой, путники чувствовали бессознательное сожаление об оставшейся позади щедрой и грозно-величавой нарымской тайге . . . И, словно отвечая на общую мысль всех троих, Грач, повернувшись лицом к далекой голубеющей полосе Великого Леса, пробурчал в бороду:

— Ну, да ладно, чего там еще . . . Вернемся, постой . . . дай время . . .

Повернулся круто и, не оглядываясь, зашагал в гладкую, пустую Барабинскую степь . . .

*

Осмотрительнее пошли путники. Хотя и не пересекали пути беглецам коричневые ленты пыльных проезжих дорог и не показывались еще люди, не разводили уже костров по холодным ночам боязливые, испытавшие все путники.

Однажды, когда медный круг солнца, крутясь в сизых клубящихся тучах, навис над горизонтом, Грач поднялся на плоскую вершину древнего кургана и долго внимательно смотрел из-под руки вдаль . . . Там, в степи, в дрожащей прозрачности вечернего воздуха, розовела, переливаясь, стальная лента какой-то широкой и многоводной реки. Дышало от нее свежестью воды, пресным запахом камыша и болота.

Тихое дуновение ветра едва доносило до беглецов нестройный, разноголосый шум какого-то, очевидно, большого села. Уже блестели кое-где среди темных куч далеких строений мигающие точки зажегшихся огней . . . Медленно и упруго воздушные волны густого, размеренного звона раздались от нее во все стороны. Бойко проиграл-продудел на

своем рожке пастух. По дороге заклубилась пыль. По степи, шелестя непокорной травой, прошло стадо. Заревел бык, и дружно в ответ замычали коровы. Наперегонки заблеяли бараны. Неожиданно совсем близко послышалось хлопанье кнута и грубые мужичьи голоса...

Переглянулись путники, — идти в село было немыслимо. Их серые, сильно к тому же потрепанные арестантские азямы, казенные коты, говорили слишком явно об их прошлом.

— А и нет хитрее сибирского мужика-чалдона. Куда против его рассейскому крестьянину... любят, ведь, нас, варнаков!.. Сколь случаев рассказывали бродяжки наши, как мужиченки из-за рубля иль того менее прикрывали ночевавших у них, а концы в воду прятали... Напоят водкой с угаром, дадут заснуть, аспиды, да по темени и ахнут обухом... — медленно и зло процедил Грач.

— Ну, чего делать-то будем? — строго спросил Рыжий, злорадно щуря глаз. — Тебе и карты в руки... А только сдается мне между прочим, Грач, что придется заночевать двоим из нас там вон, в камышах у реки... Обь это... Дугой обошла нас она.

— Двоим? А третий чего? — спросил сурово Грач.

— А третий, Грач, в село беспременно пойти должен... К вечеру оно и удобнее... Пособирать и надеть на него самое, что ни на есть лучшее со всех троих. Зипун этот каторжный снять, конечно, надобно. В рубахе да босиком и идти... Будто рыбак какой чужедальний с реки... за хлебушком... Деньжата у нас водятся майданные... Немного, а есть. Припасы купить... Табачишко. Выпить чего... Водочки-то давно не лакали... — и Рыжий облизнул потрескавшиеся губы.

— Ну, опять и насчет пути-дороги узнать... Из лопотины чего справить... Ну, чего молчишь, Грач? — и Рыжий выжидающе уставился на чернобородого.

Тот огромной пятерней чесал крутой затылок свой. Помолчав, ответил веско, как всегда:

— Правильно говоришь, Рыжий... Иначе и не придумать... Тебе и идти... Золотишко же наше... и твое... схоронить надобно. Зарыть в камышах... Голышей-камней много лежит там. Большие... Под одним и зароем... Ежели что и случится, так не нам и не им, дьяволам, по крайности, не достанется...

*

Перед отходом Рыжего Грач тщательно оглядел его со всех сторон и остался доволен.

— Ишь!.. Совсем рыбака сотворили из Рыжего... Жаль, корзины с рыбой в руках нет. Да не наловили, вишь!.. — и он загудел тихим смехом.

В самом деле, Рыжий в своих подкатанных выше колен тиковых портах, в не особенно изношенной синей ситцевой рубахе Грача, с ремешком вокруг отросших львиной гривой рыжих волос, ничем не отличался от матерого, бывалого рыбака.

Вернуться Рыжий обещал ранним утром.

— Заночевать придется там, чтобы сумления не было, — бросил он, скрываясь в чаще тростника.

Нетерпеливо ожидали Грач и Фомка возвращения Рыжего, — и холод их мучил, и беспокойство не давало забыться в дремоте. Лишь под самое утро, когда ночная темь начинала постепенно растворяться в бледных лучах осеннего холодного солнца, путники, сморенные усталостью, погрузились в тревожный, кратковременный сон.

Треск и шорох ломаемого сухого камыша разбудил их. Испуганно вскинулся на колени Грач, лязгнул затвором винтовки. Приложился, хмурым взглядом зорко высматривая в чаще камыша... Это оказался Рыжий. Он был сильно пьян.

Шел неверными, крутящимися шагами. Поминутно останавливался. Вынимал из кармана раздавленную коробку папирос. Пытался закурить. Но не гнулись непослушные пальцы, и он, матерно ругаясь, с силой бросал сломанную папиросу на землю и лез за другой. За плечами Рыжего топорщился туго набитый мешок, на шее маятником болтался на веревочке большой копченый окорок. Из карманов новых плисовых штанов, спущенных в сапоги, нагло белели сургучные головки водочных бутылок. Картуз победно сиял лаковым козырьком на огненной круглой голове Рыжего.

Грач встал и с любопытством всматривался в разухабистую форсистую фигуру Рыжего. Фомка выпучил бараньи глаза: он завидовал широченным штанам ликующего Рыжего и его картузу.

Одноглазый заметил удивление товарищей и, кобенясь и выламываясь, шагнул на полянку. Молодецки притопнул ногой в щегольском сапоге. Отставил ее фертом в бок, но икнул, зашатался на месте и тяжело опустился на землю.

— Ах, ты, шут гороховый! — закатился, загрохотал Грач.

— Ну, насмешил, кобель рыжий! Ну, жених!.. Прямо жених!.. Девок вот нету, а то бы женили тебя... одноглазого!.. — И, оборвав смех, добавил:

— Ну, рассказывай, как и что.

Вздохнул Рыжий размягченно и, оделив товарищей исковерканными папиросами, начал:

— Хе-хе, ядрена вошь, ладно я сварганил!.. Никто не подкопается! Перво-на-перво у мальченки-подпаска выпытал, что за село такое... Ильинское прозывается... Знакомо мне по наслышке... Недалече от него по тракту, верстов сорок, однако, Бийск-город... Там-то и мне бывать приходилось. Н-да. От города Бийска до Барнаула по железной дороге рукой подать... И там бывал...

— И я там бывал, — перебил Грач.

— Ладно, теперь знаем дорогу . . . Это самое главное для нас . . . А теперь и похряпать не вредно . . . Ну-ка, ты, Рыжий, рассупонивай мешок-то ! . .

Радостно и деловито булькала кристально-прозрачная влага в зеленоватых тонкого стекла бутылях. Булькала, пенясь и играя мельчайшими пузырьками, уходя в широко открытые, жадно проглатывающие рты Грача и Фомки . . . Пили долго, не отрываясь, далеко запрокинув головы. Побагровели лица. Буйно побежала кровь в набрякших жилах. Ели жадно, чавкая, отрывая крепкими, нетерпеливыми зубами тугое жирное мясо, давились слишком крупными ломтями свежего, еще теплого хлеба. Когда же допили водку и от окорка остались одни жирные шишковатые маслаки, довольно отвалились на упругие, пружинищие камышевые подстилки. Задыхались от сырости и тяжелого опьянения. Лежа пластами, утробно рыгали. Перебрасывались нехотя и вяло короткими, отрывистыми фразами. Каждый мысленно рисовал себе картины близкой теперь привольной и беспечной жизни где-нибудь в большом и далеком городе . . .

Рыжий оперся на локоть и сопя задумчиво жевал соломинку. Хмель оставил его. Одноглазый украдкой бросал косые, быстрые взгляды на лежащих в пьяном полусне Грача и Фомку. Рыжий наблюдал . . . И ждал . . . Грач повернулся в дремоте, и тихий нудный стон неожиданно слетел с его губ . . . Он с усилием приподнялся и сел; с долгой голодухи крепка оказалась водка и для богатырской натуры чернобородого.

Он вяло поматывал кудлатой головой. Долго с усилием сплевывал липкую густую слюну . . . Лег опять навзничь . . . Рыжий ждал, затаясь . . . О чем думал он ? . .

И Фомка тоже, по молодости лет своих, с непривычки, видно, к сибирской злой водке, заметался в бреду.

Рыжий беззвучно смеялся. Весельем безудержным, без мерным охватило его. Он сотрясался в диком смехе, кашлял, зажимал большой рот свой обеими ладонями . . .

Пожалуй, не пришло еще время смеяться громко . . . Боялся разбудить, потревожить сморенных хмелем товарищей. Рыжий заботился об их отдыхе: привык, привязался, знать, своей натурой — хоть и каторжный — к спутникам в тяжком, опасном пути.

Грач заскрежетал зубами, и на посиневшем сразу лице его крупной росой выступил пот . . . Он задыхался . . .

— Чегой-то ты, спаси те, Господи, Грач, все возишься ? . . Мотри, не напекло бы тебе солнышко голову-то . . . Вишь, какое оно жаркое ! . . — тихо и медленно вымолвил Рыжий и встал.

Кривоногий, сгорбившийся, он походил на желтого речного краба. Расставил ноги, склонил шею на бок . . . Смотрел на лежавших в мучительном опьянении товарищей. Не то приглядывался, не то прислушивался к чему-то . . .

— Ах ты, грех какой ! . . Не надо было, значит, водочки так много пить . . . Дак кто ж знал, что вы, ребятушки, кволые такие . . .

Он тихо нагнулся к винтовке.

— А ружьецо-то отложить к сторонке лучше . . . Ненароком попортишь ты его, Грач . . . В судоргах-то последних смертных ! . . — звонко и резко выкрикнул он в помертвелое лицо Грача, стонущего все громче, все мучительнее . . .

Страшная судорга скрючила, согнула тело Грача. Он дрожал в ознобе . . . Глаза налились кровью и слезами . . . Но чернобородый ничего не видел, — яд сделал его слепым . . .

Грач крепко кричал проклятия и ругательства невидимому Рыжему. Страдания заставили его кричать диким животным криком. Руки слепо искали одноглазого и, не находя, рвали клочья травы и тростника.

В черном безумьи Фомка кусал землю. Парень жалобно, тонко, по заячьи, вопил Рыжему мольбы:

— Дяденька, милый! Дяденька, голубчик!.. А меня пошто? Меня пошто порешил?! Спаси, Христа ради!.. Я зла не имел противу тебя никогда... Дяденька!... Пожалей... спаси!.. Жить хотца!..

Рыжий хохотал громче...

— Ну, Фомка, потерпи; теперя недолго осталось... мучиться тебе! А противу тебя и я зла не имею... Парень ты хороший, хоть и дуралей... Из за Грача погибаешь; нам с ним по земле ходить никак не можно... Ничего не поделаешь, такая, значит, планида твоя... Лес рубят, щепки летят!.. Прости, родимый!.. Не со зла... Нельзя было... Я вот ужо разживусь, церковь в поминанье твое справлю... Фомы-Апостола... Отмолю грех свой... невольный...

Рыжий снова хихикнул.

— Как ловко все вышло-то... Хе-хе-хе!.. Вот уморато!.. Рыли, рыли!.. Копали, копали золотишко-то... Да сами и схоронили его! Для меня, ведь!.. Хо-хо-хо-хо!.. Вот смех-то!..

Он сморгнул слезы, капавшие от смеха.

— Я тоже не дремал, дурачье!.. Всю дороженьку травушку собирал... — Одноглазый присел на корточки и нагнулся к затихшему Грачу:

— Та трава и тебе знакома, Грач!.. По каторжной жизни твоей... Вспомни!.. Борец-трава называется... Болиголов... Наши ребята там, в Онгудае, коль жизнь не в мототу станет, ею травились... Нет спасения от нее никому!.. И тебе, Грач!..

Рука чернобородого молненосно схватила Рыжего за ворот рубахи... Последним усилием гаснущей воли могучие руки Грача мертвым кольцом сжали туловище Рыжего. Спешными, ищущими движениями слепца Грач ощупывал

бившегося одноглазого... Его растопыренные пальцы ползли к лицу Рыжего...

Нашли горло... Сдавили. Что-то хрустнуло, как сломанная спичечная коробка...

Ни звука, ни шороха не слышно в камышах у могучей Оби. Лишь струи речные едва слышно журчат, и недвижной стеною тростники с камышами стоят.

Стороною гроза, знать, прошла. Солнце сильно печет. Тихо кругом.

После симфонии

(Из романа «Тропа Тамерлана»)

Отшумевшая гроза с громом и синими сполохами молний. омыла зелень деревьев и траву клумб от мелкой, желтой пыли, нанесенной ветром издалека, с монгольских равнин и степей, с песчаных морей пустыни Гоби.

Только что замолкла бравурная увертюра из «Кармен», и музыканты симфонического оркестра, не торопясь, выходили с эстрады-раковины в сад покурить и выпить стакан холодной бузы.

Шуршал и поскрипывал мокрый гравий под ногами гуляющих.

На темном бархате прояснившегося неба выступали мерцающие миллионы звезд.

На открытой веранде Железнодорожного собрания расторопно сновали китайцы-бои, накрывая столики накрахмаленными белоснежными скатертями.

Чертков сидел за одним из них у самого выхода из сада.

Он поминутно взглядывал то на широкую лестницу, полукругом спускавшуюся в сад, то на стрелки своих черных, вытертых часов. Мимоходом рука его привычным плавным наклоном запотевшего графинчика наполняла до краев солидную граненую рюмку. Выпив водку, Чертков задумчиво долго нюхал корочку хлеба и грозил кому-то пальцем своей

тонкой, поросшей золотым пушком, руки. При этом засаленная студенческая фуражка его, краем повешенная на спинку стула, падала на пол, и Чертков с кряхтеньем поднимал ее и вновь осторожно вешал на прежнее место. Светлые прямые волосы, цвета спелой ржи, непокорной копной свисали от этого движения на высокий лоб, и Чертков досадливым взмахом головы отбрасывал их назад.

По лестнице медленно поднимался седой невысокий господин изящной и благородной наружности в небрежно накинутой на плечи черной крылатке.

Добрые синие глаза вошедшего близоруко щурились, обводя веранду.

— А, Казимир Францевич! Наконец-то!.. — и Чертков, радостно протягивая руки, кинулся навстречу.

Обняв господина за плечи, Чертков подвел его к столику и заботливо помог снять его крылатку.

С большою задушевностью и чувством в бархатном голосе господин отвечал Черткову на его, обычные при встречах двух старых знакомых, вопросы.

— Эх, Казимир Францевич, Казимир Францевич! Как времячко-то бежит!.. Вся голова у вас серебряная стала... Да уж и пережито, что и говорить, порядочно.

Чертков, не спрашивая, наклонил графинчик над рюмкой собеседника.

— Ну, и вы, голубчик, не помолодели... Не тот сорванец-кадетик, которого я цукал когда-то... — отвечал Казимир Францевич, распиливая ножем маринованный грибок. Грустные ясные глаза его ласково и незаметно-внимательно оглядывали Черткова.

— Да, голубчик Чертков, пережито много, это вы правду сказали... За эти годы, под проклятой коммунистической властью, и пережито и выстрадано столько, что порой удивляюсь — как еще я небо коптчу. Ну, да милостив Бог! Удалось выбраться с помощью верных людей из большевистско-

го застенка ... живым ... Другие же ... бедные ... отстрадали ... — замигал Казимир Францевич синими глазами, внезапно наполнившимися слезами. Он смахнул пальцем слезы и широко перекрестился.

Чертков опустил голову, соболезнующе вздохнул и заказал новый графинчик.

По мере выпитых рюмок, красивый, с горбинкой, римский нос Черткова начал краснеть. Гость его все больше грустнел и вдруг, с жаром и охотой, заговорил о музыке и искусстве, рассеянно и подолгу останавливаясь взглядом своих красивых печальных глаз на загорелых, по летнему глубоко открытых плечах, сидящих за соседними столиками женщин.

В громовом раскате закончился финал Пятой симфонии Чайковского, и публика дружно хлынула к выходу.

— А что, голубчик, не пора ли и нам в кроватку? — спросил Казимир Францевич, щелкнув крышкой часов, — время уже позднее, пока доберемся до Модягоу будет уже час, а то и больше.

— Ну, что же — пора, так пора! .. — ответил, поднимаясь и зевая, Чертков.

Они лениво пошли по опустевшей аллее к боковому выходу.

Большой Проспект был пуст и только у главного подъезда Собрания, на автомобильной бирже, стояло с затемненными фарами несколько легковых машин.

— Что же, голубчик, возьмем извозчика, что ли? — Неуверенно предложил Казимир Францевич.

— Ни-ни-ни ... Ни в коем случае! — пьяно заволновался Чертков.

— Зачем извозчика ! ? Подождите меня здесь, Казимир Францевич, а я сейчас слетаю на стоянку и приведу автомобиль ... Есть тут у меня приятель один, шоффер по профессии. Он нас и домчит на своей машине в два счета ... а то

чего на извозчике трястись целый час. Встаньте вот здесь, у столба. А я сейчас же обратно, с машиной...

И Чертков рысцой припустился к черневшим автомобилям.

Уланский стоял под фонарем на тротуаре, сняв учительскую фуражку, опираясь на суковатую палку. Легкий ночной ветерок играл складками черной накидки Казимира Францевича и ласково пошевеливал седые кудри его.

Стоял он прямой, барственный. Было ему особенно грустно этой теплой, чудесной летней ночью, в этом большом и еще малоизвестном, но интересном и необычном городе.

В сознании же, отчего-то именно сегодня, зашевелились опять навязчивые воспоминания, неясные обрывки недавнего темного прошлого.

Длинный потрепанный серый автомобиль с фырчанием вывернулся из-за угла и круто застопорил у фонаря.

Довольное, пьяное лицо Черткова широко улыбалось навстречу Казимиру Францевичу из опущенного переднего окна. Высунувшись до плеч, он призывно махал Уланскому рукой:

— Сюда, сюда, Казимир Францевич! Везет нам: как раз Стаська стоял на углу... Уже собирался было трогаться... И попутчики есть... кстати... Ну, садитесь!

Чертков, перегнувшись, с треском нажал тугую ручку тяжелой дверцы.

Уланский, молча, ступил на подножку. Чьи-то услужливые руки готовно протянулись из темных недр поместительного Паккарда, помогая Казимиру Францевичу взобраться внутрь. Машина заскрежетала зубчатками скоростей и с места рванулась вперед.

Была немая тишина в густой темноте автомобиля и молчаливые попутчики не шевелясь сидели сбоку Уланского.

Машина неслась вперед, упруго раскачиваясь на неровностях дороги и заносясь неверно на крутых поворотах. Фо-

нари Нового Города остались позади и теперь обе стороны дороги стерегла глубокая ночь.

Шоффер правил небрежно и умело одной правой рукой, другой часто поднося ко рту красную точку быстро тлеющей папиросы.

Очевидно, дорога пошла хуже и мчавшуюся с прежней скоростью машину начало кидать в стороны. На переднем сидении кто-то фальшиво запел модное — «Все, что было, все, что ныло». Однако, лязгнув зубами на взлете глубокой впадины, певец замолчал. Холодный, не городской ветер засвистал тонко и уныло в пазы оконных рам.

— Что-то мы не туда едем, голубчик... — внезапно встревожившись, обратился Уланский к Черткову. Тот молчал, сгорбившись, до ушей уйдя в поднятый воротник студенческой тужурки.

— Послушайте, голубчик Чертков! Вы спите, что ли? Мы что-то не туда... — трогал ручкой своей палки каменное плечо Черткова Казимир Францевич, — проснитесь же, Чертков!

— Не тревожьтесь попусту, почтеннейший, — произнес холодный голос соседа слева, — едем по правильной дороге куда надо... На свиданье с друзьями... Ждут тебя там, любимый учитель, и Тагаридзе, и Соловьев, и Траубе... и многие другие, твои бывшие воспитанники, преданные тобой, гадина, замученные в подвалах хабаровской чрезвычайки.

Капли пота выступили на висках Уланского. Задыхаясь, он пытался растерянно в чем-то оправдаться. Пытался убедить в чем-то молчаливую тьму. Наконец, поняв все, отчаянно всхлипнул и повалился на резиновый, рубчатый пол, замедлявшего ход автомобиля.

Ржаво застонав тормозами, Паккард остановился. Шоффер открыл дверцу, за плечи выволок цеплявшегося за все Уланского наружу и бросил на влажную, рыхлую землю.

Здесь проселочная дорога неожиданно кончилась, переходя в открытую пустошь, забросанную высокими кучами мусора и всякой гнили. На востоке уже начала зеленеть узкая полоска небосклона, и, темнея, шумела у дороги куча старых, корявых вязов. В стороне, чернея силуэтами, стояло полукругом четыре автомобиля, освещая ослепительным белым светом передних фонарей одно место, выхватывая его из окружающей тьмы: неглубокую яму, набросанный рядом свежий холмик недавно вырытой земли и воткнутую в ней лопату.

Десять или двенадцать молчаливых фигур неподвижно, полукругом же, стояло у заведенных машин, ожидая.

Уланский судорожно, мертвой хваткой, держался за подножку Паккарда. Шоффер каблуком наступил на его скрюченные пальцы и поволок Уланского, как мешок, к яме.

Коренев и Лапковский тяжело шли за ними.

С севера опять надвигались невысокие, косматые тучи и поднявшийся ветер приносил с собой косые капли начавшегося, где-то еще далеко, дождя.

Не поднимаясь, уткнувшись лицом в грязь, лежал Уланский в полузабытье у своей могилы.

Коренев и Лапковский с наганами в руках подошли к нему.

— По приговору . . . — откашлявшись начал Коренев. Металлический, холодный и ровный голос был слышен ясно и далеко в предутренней тишине, — Вы, Казимир Францевич Уланский, в прошлом офицер русской императорской армии, затем преподаватель и воспитатель Хабаровского кадетского корпуса, в дальнейшем предатель и провокатор, выдавший двадцать семь своих воспитанников чрезвычайной комиссии в том же городе. Все двадцать семь человек были замучены и расстреляны хабаровской чека. В дальнейшем вы, Казимир Францевич Уланский, войдя в доверие чрезвычайки, были переброшены во Владивосток для продолже-

ния вашей провокаторской, разлагающей деятельности среди белой эмиграции. Последнее ваше задание состояло в том, чтобы войти в соприкосновение с Братством Русской Правды, проникнуть в ее организацию и выдавать чека братьев, находящихся в пределах СССР. Это вам удалось, и несколько бойцов Правды были схвачены чрезвычайкой, запытаны и расстреляны. За это вы приговариваетесь Братством к смерти. Угодно вам что-нибудь сообщить? Нет ? ! .

Коренев и Лапковский, подняв наганы, почти в упор разрядили их во вздрагивающую спину учителя.

Враз заработавшие моторы четырех автомобилей вспугнули стаю ворон с придорожных деревьев, и она, хрипло каркая, описывая широкие круги, понеслась косо к далекой роще. Дождь стал усиливаться.

Коренев и Лапковский, не оборачиваясь, пошли к серому автомобилю. Шоффер в кожаной тужурке нагнулся над трупом Уланского и, не торопясь, обшарил его карманы. Затем пинком ноги в тяжелом сапоге Стась столкнул мертвого Уланского в топкую могилу. Вытянул лопату из земляной кучи и, поплевав на руки, хотел было засыпать труп. Но вспомнил что-то и остановился.

— Хей! Грыша! — с нерусским акцентом крикнул он, — хей, хлопец ! . .

Из автомобиля, мерцая наплечниками, с трудом выбрался Григорий Одарюк и без особой охоты, неверными шагами подошел к чеху. Всегда румяное лицо Григория было бледно и от страха его мучила икота . . .

— Н-ну, ты, Грыша! Возьми лопату !Робь ! . . — сурово крикнул Стась.

Лопата выпадала из трясущихся, потных рук Григория. Стась поднял лопату и сразмаху ударил ею, плашмя по спине Одарюка.

— Н-ну, ты, Грыша! Робь! — и Стась, присев на корточки, вынул из нагрудного кармана тужурки смятую коробку

папирос «Василек». Он, всхлипывая от наслаждения, глубоко втягивал серый дым, не спуская неподвижных, жестоких глаз со щеголя-студента.

После, Стась тщательно затоптал сам зарытую могилу и велел Григорию разровнять и разбросать оставшуюся лишнюю землю.

В автомобиле Чертков поднял с сидения затекшую от сна всклокоченную голову. Он с любопытством оглядел подошедших.

— Ну, что? Как ?.. Кончили Францевича ?.. — спросил он, потягиваясь. Все молчали. Взглянув на бледного Григория и на, чем-то очень довольного, Стася — Чертков понимающе улыбнулся.

— Вижу, что кончили Францевича. Ну, прошу ко мне в столовую на рюмку водки! Помянем покойничка... Подлейший был человек.

Серая машина мчалась к городу, где уже начинало гаснуть электричество. Усилившийся дождь ручейками струился по стеклам автомобиля.

В предутренней холодной мгле в пригородной китайской деревне злобно тявкали собаки и, хрипло надрываясь, кричали утренние ранние петухи...

Отчий дом

(Из романа «Тропа Тамерлана»)

Лесничий стоял под мокрым стволом дерева, и холодные, крупные капли, сверкая под косыми розовыми лучами уже вечернего солнца, сыпались с листьев на брезентовый плащ Садового. Дождик был слепой, летний и теплый.

Белая Нелька, мокрая несчастная, жалась к ногам хозяина.

Кратковременная гроза унеслась к северу, и в низких фиолетовых тучах все тише и тише громыхали, удаляясь, раскаты грома и реже вспыхивали, мерцая, зеленоватые широкие полосы молнии.

Петр Лаврентьевич снял тяжелый дождевик и стряхнул прозрачные капли-горошины.

Он, как гребнем, провел пальцами по седеющей рыжей гриве густых, влажных волос и тщательно обтер синим платком коричневые стволы зауеровской двухстволки.

Нелька белым мокрым комком все еще льнула к хозяину, влюбленно глядя своими грустными человечьими глазами в глаза лесничего. Махая усердно обвисшими космами хвоста, Нелька всем своим собачьим существом старалась доказать повелителю свою преданность и верность в приключившейся беде.

Косые лучи склоняющегося солнца золотили колосья уже зреющей ржи, и в селе, с церковной колокольни рас-

ходился во все стороны, к синеющим с трех сторон на горизонте, синим стенам леса, густой звон к вечерне.

Обсохшая Нелька светлой тенью бежала по обочине курящейся легким паром дороге, то обгоняя хозяина, то приближаясь к нему вплотную и следуя некоторое время за ним по пятам.

Лесничий нахмурился. Знакомая белая лошадь, разнузданная, стояла за поворотом дороги. Хрустя травой, она лениво отмахивала желтым от старости хвостом, роившихся на солнце мух и слепней. Урядник сидел подле, на пригорке, жуя соломинку. Бесстыжие, жгучие, темные глаза его внимательно смотрели на приближающегося лесничего. Он лениво поднялся, сбил смятой фуражкой пыль с шаровар и в развалку, неторопливо пошел навстречу.

— Что скажешь, Мошков... хорошенького? — сурово спросил Садовый, отрывисто кивнув львиной головой и все еще хмурясь.

— Доброго здоровия, Петро Лаврентич... — ответил урядник, будто не слыша вопроса и глядя из под ладони на уходящие груды туч, на синеющие вдалеке леса.

—Должно быть кончилась непогода-то, Петр Лаврентич. Вишь, солнышко-то, как умытое садится на нашест.

— Что скажешь, Мошков, хорошенького?.. повторил лесничий вопрос, не меняя голоса.

Мошков пошел рядом, стараясь приноровиться к широким шагам лесничего.

Белая лошадь послушно брела следом за урядником, изредка, неприветливо отгоняя головой дружелюбно принюхивающуюся к ней Нельку.

— Притомились, поди, Петро Лаврентич... — Шутка ли сказать — обходить, почитай каждый день, леса-то наши... — Урядник широко обвел рукой вокруг себя... — Эх-х... Красота какая, Петро Лаврентич. Силища богатырская из под земли прет.

Садовый остановился и сбросил тяжелую сумку на землю. Он молча достал кожаный портсигар и взял папиросу.

— Дозвольте и мне, Петро Лаврентич... — потянулся Мошков загорелой рукой в серебряных кольцах... Лесничий отдернул табачницу и вынул сам раскрошенную папиросу:

— А ты... свои... Мошков, да нас угощай почаще...

Расставив ноги, Садовый затянулся крепким дымом и неожиданно чугунной рукой взял урядника за ворот гимнастерки. Широкие ноздри его раздувались, маленькие, карие медвежьи глазки смотрели зло, нехорошо.

— Что вы... Что вы, Петро Лаврентич... — опешил урядник, крутя шеей, хватаясь за волосатую руку лесничего.

— А вот то, шкура ты этакая... Все жилы вытягиваешь, подлец... Знаю, что у тебя на уме, Мошков. Знаю, что хочешь. Знаю зачем пришел... Н-ну ?..

Он отпустил горло урядника, и оба, как ни в чем не бывало, зашагали дальше по начавшей уже пылить дороге.

— Да что, в самом деле, Петро Лаврентич... — плаксиво загнусил Мошков, поправляя воротник растерзанной гимнастерки.

— Я к вам душой, можно сказать...

Лесничий хмыкнул, сплюнув.

— Я насчет Лаврентия Петровича к вам... Дурит сынок ваш попрежнему, Петро Лаврентич... — с разыгранной горячностью швырнул окурок Мошков.

— Это как — Петро Лаврентич, — надлежит мне по присяге царской за сынком за вашим присматривать, аль нет? Нет, вы мне сами скажите, надлежит мне за Лаврентием Петровичем поглядывать, коли от начальства моего предписание имею... — выпятил грудь Мошков.

— Предписание имею следить за сынком вашим, и в случае чего докладывать обо всем незамедлительно.

Лесничий остановился.

— Ну, и что ты за Лаврентием опять заметил?

— Да что, Петро Лаврентич, опять все то же самое, старое. За старое принялся ваш сынок.

Мошков вытащил смятую бумажку и запинаясь, зажимая большим пальцем прочитанные места, продолжал:

— «Десятого июля»... это вчера то-ись... «десятого июля 1911 года мною, урядником...»

— Ладно, ладно... — перебил Мошкова лесничий грубо.

— Говори словами: что тобою замечено за Лаврентием?

— А то, что обязан я по долгу службы моей царской донести... Да, опять вчера приехали... — поспешно оборвал предисловие и поперхнулся Мошков, увидев побагровевшее лицо лесничего.

— С вечерним поездом вчера, в семь тридцать вечера, на станцию Стронское приехало четверо нездешних мужчин с чемоданчиками и, видать, тяжелыми, а с ними и стриженная одна... Сынок ваш их сам встретил... В лесничество отвез гостей милых... К себе, во флигель, значит... Свет у них горел до утра, почитай что... Видно, о многом чем было поговорить знакомцам старым. Эх, Петро Лаврентич, Петро Лав...

— Ну, ты шкода! — бешено зыкнул лесничий, замахиваясь ладонью на присевшего Мошкова:

— Вот что... — он, отдуваясь, шарил за пазухой. Найдя, вытащил обшарпанный бумажник. Сопя раскрыл его, как книгу. Долго рылся в конторских счетах, расписках и княжеских письмах. Наконец, нащупал потрепанную двадцатипятирублевую кредитку и, скомкав, бросил ее под ноги Мошкову.

Вот что, стервец. Бери то, за чем пришел. Да держи язык за зубами. Ну, марш, марш... За Лаврушкой я сам погляжу... Марш... — свирепея, вновь наливаясь темной кровью, закричал лесничий. Он круто повернулся и зашагал быстро

и крупно по направлению к видневшемуся вдалеке лесничеству.

На полдороге он остановился, обернувшись, долго смотрел, задумчиво поглаживая ложе двухстволки, на темную фигуру удалявшегося Мошкова.

Когда Садовый, все еще задыхаясь и багровый лицом, подходил к зеленому частоколу лесничества, он был полон злобы на сына и еще больше, может быть, на самого себя. Думал он:

— Яблочко от яблони недалеко откатывается. Сам был такой... А может быть, и похлеще.

В сознании мелькали картины его молодости, его прошлой студенческой жизни. Вот видит он себя на сходках в Лесном Институте. Всегда с теми он, у кого ярче всех горят молодые глаза и пламенеют румянцем волнения нежные, чуть поросшие юношеским пушком, мальчишеские щеки.

В накинутой на плечи студенческой тужурке, с петлицами Лесного Института, высокий, широкоплечий, с львиной гривой рыжих волос, заложив обе руки за пояс вышитой русской рубахи, слушал жадно он горячие слова — выкрики митинговых ораторов, кумиров тогдашней передовой идейной молодежи. С переходом на последний курс, уже вращался среди революционеров, оказывал им некоторые, порой немаловажные, услуги. Иногда укрывал на своей студенческой квартире скрывавшихся, нелегальных. Был посредником в революционной переписке с заграницей и устраивал законспирированные свидания членам боевых дружин. Помогал в издании и в печатании в тайных подпольных типографиях прокламаций и летучек. Он был начитанным революционером. Редко посещал Институт на последних курсах, предпочитая сдавать зачеты и экзамены по конспектам и чужим запискам. Проводил целые дни в Публичной библиотеке, изучая историю своего русского, а также и интернационального, революционных движений, зачиты-

ваясь писаниями Щедрина, Лаврова, Каутского, Маркса, Лассаля и прочих корифеев революционной теории.

Слишком заметной была его высокая, складная фигура на всех студенческих сходках. Слишком открытым вызовом горели его карие глаза и, не понижаясь, звенел над толпой его молодой, сильный голос, чтобы не заметило его Охранное Отделение.

Вспомнил сейчас, проходя к конторе лесничества, Садовый тот памятный допрос его жандармским полковником, наедине в кабинете последнего. Вспомнил, как от небрежно брошенного полковником тяжелого Свода Законов упал на пол и плавно лег у его, Садового, ног печатный казенный бланк с чьей-то фотографией. Как, сидя на стуле перед громадным письменным столом полковника, вызывающе отвечал он на вопросы жандарма, небрежно стряхивая папиросный пепел на пол. Как закашлялся нарочно и, уронив носовой платок на пол, — поднял вместе с ним и положил в карман незаметно этот бланк. Позднее, в одиночке, с зашевелившимися волосами, прочитал он на бланке под фотографией имя курсистки, девушки, которую он так любил:

— Вера Павловна Зарудная, слушательница 3-го курса филологического факультета С.-Петербургского университета. Сотрудничает с осени 1897 года. Агентурное имя — «Колокольчик».

У нее был серебристый, ласковый смех, а глаза ее были голубыми, чистыми и правдивыми . . . смотревшими в душу.

С той ночи, в камере, какой-то стержень сломался в характере Садового. После, в Бутырской тюрьме, а затем на поселении в Сибири, в городе Балаганске, он мучился безмерно, стараясь забыть заглянувшие в его душу навсегда глаза «Колокольчика».

Не смог забыть. Не забыл. Осталась навсегда в душе, временами и теперь, кровоточащая саднящая рана. Но с тех пор отошел он от революционного движения, прекратил вся-

кое общение с товарищами и как-то замкнулся в себе. В Сибири отказался от побега. Отбыв же ссылку, имея уже жену и сына, в четвертом году, добровольцем отправился в действующую армию на Дальний Восток.

Там в полку князя Стронского, смело вел себя, вначале рядовым, а впоследствии прапорщиком. Был несколько раз ранен и несколько раз награжден.

В полутемной конторе, ставя ружье в угол, Садовый припомнил еще, как после окончания войны, вызванный в Петербург письмом князя Стронского, в его особняке на Морской смотрел он на породистое сухое лицо своего бывшего полкового командира и с удовольствием выслушал и принял его предложение быть главным лесничим в «Гололобовѣ», родовом поместьи Стронских.

— Я знаю, Петр Лаврентьевич, — прощаясь сказал князь, крепко пожимая руку Садовому и спокойно глядя в его глаза — о вашем революционном прошлом. Но я знаю и о вашем новом настоящем. Оно лучше. Я знаю, что честнее и более работоспособного лесничего я не найду. Лес же, я знаю, вы любите, и его у меня в Синявках более двух тысяч десятин.

— А все-таки, яблочко от яблони. — Лесничий стянул тяжелые болотные сапоги и надел легкие, на мягкой подошве чувяки.

Насвистывая марш из Аиды, Садовый со звоном повернул ключ в тугом замке ящика своего письменного стола. Из замшевого желтого чехольчика достал плоский, гравированный цветами, дамский браунинг. Он срыву вложил обоймочку и сунул игрушечный пистолет в боковой карман своей охотничьей куртки.

Часы в конторе пробили восемь. Теперь совсем стемнело, и в открытые настежь окна ветерок доносил тихий шелест листвы яблонь и груш в большом фруктовом саду лесничества.

Сгорбившись очень легко для своего роста и веса, лесничий пробрался у забора, за кустами крыжовника, к флигелю. Флигель стоял в самом конце сада, и в нем летом обычно жил его сын, приезжавший на каникулы.

Освещенные окна до половины высоты были задернуты занавесками.

Бормоча невнятные ругательства, Садовый цепкой кошкой взобрался на старую яблоню, смотревшую прямо в среднее окно флигеля. Обняв ствол дерева, он жадно впился глазами в лица сидевших посреди комнаты за овальным столом. Трое мужчин невзрачного вида, не то мастеровые, не то купцы доставали из чемоданов и раскладывали стопками на столе литературу.

Четвертый из ночных гостей сидел в углу за книжным шкафом, видны были только его руки, что-то уверенно разъясняющие в воздухе, и Лаврентий Садовый порывисто ходил по комнате из угла в угол, круто поворачиваясь на каблуках.

Как походил он в эти минуты на того, прежнего Петра Лаврентьевича. Лет двадцать тому назад таким же тигром метался он на товарищеских собраниях в конспиративных квартирах, спорил и ломал копья. О чем?.. Для чего?.. Стоило ли?.. Конечно нет. Обжегся он. Вероятно обожжется на революционном костре и Лаврентий. Но уговаривать сына он, Садовый старший, не намерен. Знает, что убедить невозможно. Его было нельзя, а сын такой же.

Невольно Садовый любовно остановился глазами на сыне. Красивый парень... Даже шалые глаза придают его лицу выражение какого-то стремительного упорства. И эта густая грива медных волос. Вот, поди партийки влюбляются в будущего вождя.

Интересно, что это за «стриженая» с ним? Вероятно, какая-нибудь курсистка, или сельская учительница, страдаю-

щая за свой народ. Озлоблена на всех мужчин, и больше всего на всех хорошеньких женщин.

Из двери соседней комнаты с кипой бумаг подошла к столу женщина. В глазах лесничего, дрожа, как по воде, пошли черные круги. Он зажмурился, не веря себе, своему зрению: это была она, Зарудная. Постаревшая, правда, за двадцать с лишком лет, но в общем мало изменившаяся. — Те же чересчур прямые и правдивые глаза, та же красивая, теперь сильно поседевшая, коротко остриженная голова, та же легкая, свободная поступь ее.

Садовый, ломая сучки и ветви старой яблони, с саженной высоты прыгнул на мягкую землю. Напролом, как дикий кабан, через спутанные ягодные кусты, сокрушая все на своем пути, ринулся он ко входной двери на балконе. Одним махом взлетел он на крыльцо и сразмаху сорвал с петель и высадил плечами запертую дверь. Вид у лесничего, спружинившего на корточки вслед за упавшей с грохотом дверью, со вздыбленной рыжей гривой и большой смятой бородой был дикий, свирепый, внушительный, как у пещерного человека. Неизвестные, не медля и не раздумывая выхватил синие маузеры.

Растерянно, не уясняя случившегося, Лаврентий бросился к отцу.

— Что ты, что ты, отец? Что случилось? — Понемногу приходил в себя Лаврентий Садовый. — Что за непрошенное появление? — хмурясь, наступал он грудью на отца, стараясь загородить собою прокламации.

Лесничий смотрел через его плечо, не отрываясь, на женщину. Та стояла, прижавшись спиною к стене и расширенными голубыми глазами, как завороженная, смотрела на страшного в своей ярости великана. Садовый одним поворотом своей руки отстранил сына в сторону. Он, широко расставя ноги в мягкой коже, плотно охватывающей его му-

скулистые икры, уперся обеими руками в бока. Глаза его метали искры.

— Вот что... господа... хорошие, — начал он, оглядывая всех с ненавистью и омерзением: вот что, гости незваные. Вы, между прочим, эти игрушки спрячьте... А то есть у меня в соседнем флигеле двадцать человек конных ингушей — дозорных, кунаков моих. При первых ваших выстрелах они вас разорвут на клочья. Ну что замигали, борцы за свободу? Я вас сюда не приглашал. Лаврушка здесь не хозяин. Он сам здесь гость... в последний раз. Да какими надо быть сверх людьми, чтобы забраться непрошенными в княжеский дом своего недруга, попивать чаек с булочками... — ткнул он пальцем в кипящий самовар. — С булочками и вареньицем, с маслицем, с топленым молочком. Пить чаек и раскладывать у него, недруга своего сиятельного, бумажки ваши поганые, лживые, с призывом надеть этому хозяину камень на шею да и в воду его и сунуть... Эх-х, вы... рыцари!

От низкого голоса его задребезжали стекла в оконных рамах. Лесничий срыву распахнул их настежь.

— О чем пишете, к чему призываете в бумажках ваших, борцы за народ?

О том, как старику в карету бомбочку швырнуть? Или временщику на квартиру динамит принести, убить и искалечить полсотни ни в чем неповинных людей. Женщин и детей в том числе. Эх-х, вы, лыцари! Только вот что, господа хорошие... — задыхался от злобы лесничий. — Вот что, даю я вам ровно десять минут сроку, чтобы собрать все ваши бебихи и выместись вместе с сынком моим из лесничества. Пешочком по ночной прохладе и дошагаете, не торопясь, до села и до станции.

А ты, Лавруша, с ними, с твоими дружками, вытряхивайся из лесничества... Собирай вещи, сыночек, какие сможешь унести, и шагай. Дорожку указывай товарищам,

а то еще спаси Бог, заблудятся ненароком в лесах-то княжеских, вековых. Да, вот тебе скажу, Лаврентий: — пока дурь твою революционную из башки своей не выкинешь — забудь про меня. Выкинешь, милости просим обратно, встретимся по приятельски. Прощу блудного сына. Эх, сколько раз говорил я твоей матери — покойнице, что покрепче надо было тебя в руках держать, на вожжах тугих. Оно лучше было бы для тебя. Да и для народа-то нашего пожалуй.

— Отец! — кинулся было к нему бледный Лаврентий. Отец! Товарищи!.. растерянно поглядывал он на трех насупившихся мастеровых.

Те, сложив руки на груди, кусали губы и смотрели себе под ноги. С нехорошею улыбкой Зарудная, подняв высоко голову, прошла мимо лесничего в соседнюю комнату и захлопнула за собою дверь.

Грузно ступая по скрипящим половицам, лесничий скрылся за темным квадратом выбитой двери.

В полутемном углу, из-за книжного шкафика, послышалось покашливание. Рука сидящего человека чиркнула спичкой по стене. Неровное желтоватое и несмелое пламя выхватило из полумрака смуглое, слегка тронутое оспинами лицо с крупным носом. Человек, почмокивая тихонько своей трубкой, провел рукой по густым синим, растущим почти от самых бровей, волосам. С заметным казказским акцентом человек сказал: твердый человек у вас папаша, товарищ Садовый! Твердый и безжалостный!.. Таких бы нам побольше.

Он замолчал, окутавшись клубами табачного дыма, откинулся устало назад и стал смотреть в потолок, о чем-то думая.

*

Первый гармонист по селу Федорчук, Никита, парень отбойный, злой от вчерашней гулянки и сегодняшнего похмелья, сидел на своей телеге среди высоких янтарных

ржей, на перекрестке двух дорог. Сидел он на телеге сбоку, свесив ноги, нахохлившись, примяв на уши картуз, зажав незакуренную цыгарку в углу скорбного рта. Неодобрительно смотрел он на встающее солнце и на шестерых согнувшихся людей, гуськом медленно шагающих по мокрой от ночной росы дороге.

Идущая впереди женщина с надеждою в усталом голосе сказала:

— Послушайте, молодой человек, молодой человек! Отвезите нас на станцию. Мы хорошо заплатим.

Федорчук, не меняя выражения на сонном лице, свинцовым взглядом уставился ей на живот. Он не шевельнулся, смотря, однако, уже недоверчиво на странных, вспотевших и куда-то торопящихся с чемоданами людей.

Когда же последний из шедших, невысокий, коренастый человек с нерусским, меченым оспой лицом поровнялся с ним, Никита, неожиданно, сменив тупое и сонное выражение на осмысленное и ехидно вдруг грубо закричал на него: «Довези, молодой человек!.. Заплатим... А работать... Знаю вашего брата, шушеру фабричную... Волосья стрижет... Леворюционерка!.. Работала бы, да детей рожала... Шкура... Управы на вас нет, дармоеды городские! Шляются всякие... народ мутят!.. Бездельники! Только б вам языком трепать... Скубенты!»

По звериному оскаля белые зубы, Никита изо всей силы хлестнул по спинам и лошаденку, и человека с меченым оспой лицом.

Телега его, подскакивая на ухабах, скрылась за высокими стенами золотой, колосящейся ржи.

Один миг

Продольные и вертикальные балки стройки, неразрывно связанные рядами упорных заклепок, четко вырисовывались в лиловых утренних небесах.

Отцветал месяц май, и торжественной симфонии звуков проснувшейся природы, — созвучен был торжествующий, напористый гул медленно вырастающей громады нового здания.

Напевно стонали электрические сверла, вонзая витые жала в тугую упругость стали. И дробными раскатами покрывали их мятущийся стон паровые и пневматические молотки — заклепочники

С хмурой настойчивостью копошились синеблузые, загорелые и обветренные люди, покачиваясь, будто бы и безмятежно, на легком ажуре ферм, непостижимо и чудесно перекрывших голубой провал бездны...

Бахметьев затянул туго непослушный хлястик рабочей куртки и ступил на неверно колеблющуюся площадку грузового элеватора.

На высоте, примерно, тридцати пяти метров широкий и великолепный открывался вид во все стороны Москвы.

Город только начинал просыпаться. Рваные остатки тумана летким паром курилась, постепенно исчезая, над узкой полосой реки.

Выростал и ширился еще смутный шум повседневности.

Казалось Бахметьеву прекрасным тихое, ясное утро сегодня. Бодрила, заставляя зябко поводить плечами, утренняя весенняя свежесть . . .

Александр чувствовал, как невероятной, почти невыносимой радостью, переполненное билось сердце.

Не хотелось замечать сегодня досадные пропуски, обычные и неизбежные даже в строгом размеренном темпе большой постройки.

Рассеянно кивая головой, выслушал утренний отчет кривоногого, рябого десятника, который с привычной обезьяньей цепкостью перебрался к нему с узкого лезвия консоли, недвижно и угрожающе нависшей над спутанными нитями улиц.

Сегодня на все согласный, Бахметьев быстро отпустил приятно изумленного этим десятника. На минуту лишь задержался внемательным взглядом на двухтонной, клепаной балке, только что подтянутой визгливой лебедкой, и приказал спуститься на десять этажей ниже.

Здесь было сыро. Пахло известью, и с гулким грохотом лилась сырая, густая бетонная смесь в деревянные ящики опалубок.

Здесь, железный скелет каркаса, облеченный в бетонную плоть — уже выявлял капризную мечту архитектора.

Монолитными рядами, струясь прямолинейно вверх, стояли массивы контрфорсов.

Между ними чернели провалы еще незаделанных, слепых окон.

Скрежетали в унисон бетоньерки, извергая серую, тягучую массу бетона в жадные и бесконечные устья ковшей ленточных подъемников.

Здесь не было напряженно-торопливой, согласованной четкости движений людей, молча работавших там, на высоте,

— где одно неловкое движение, один неосторожный жест призывали и значили смерть . . .

Мельком скользнув глазами по небольшим кучкам забрызганных известью рабочих, — Бахметьев решительно, едва сдерживая нетерпение, прошел в контору.

Сведя брови, досадуя на самого себя, а, в сущности, еще больше на настойчивых техников и рвачей — десятников, — Александр быстро закончил ежедневную проверку рабочих ведомостей.

На ходу надел тужурку и обычной, несколько вольной, шуткой обменялся с новым, еще не успевшим загореть и обветриться, помощником, — отчего у того заалелось легким смущением свежее юное лицо.

*

После грохота железа, лязга и скрежета стали Бахметьева схватила приятная тишина и прохлада большого сада.

Неожиданная и, пожалуй, непрошенная пришла любовь к Бахметьеву.

Властно и мучительно сладко заполнило это чувство, неизведанное прежде, сознание и все существо Александра . . .

И теперь порывисто билось непослушное сердце. Едва закрыв глаза и откинувшись на спинку низкой скамьи, он представил себе стройную Елену, ее тугие косы, гордый и чистый профиль, своевольную, иногда насмешливую улыбку.

Не совсем походила, быть может, для Бахметьева эта девушка из старой дворянской семьи, заласканная, изнеженная, и каким-то образом сохранившая и донесшая эту изнеженность и едва заметное высокомерие голубой крови сквозь железные, стремительные годы революции, голода, военного коммунизма . . .

Бахметьев вначале долго сопротивлялся спокойной властности красоты Елены, зная, однако, что не выдержит — по-

корится, рано или поздно, ее обаянию и страшной силе своей любви.

Не было стыда, не было смущения и страха перед слухами и разговорами, уже возникавшими неоднократно, и среди товарищей-строителей и даже в самой партии. Александр догадывался, как часто под фразами сурового порицания или насмешливой жалости приятелей, глубоко в тайниках и закоулках их душ скрывалось удивление и зависть к нему, сумевшему, непонятно как, приблизить эту особенную девушку к своему «я».

Сейчас, отдаваясь приятной неге весеннего тихого утра, мерно дышал полной грудью Бахметьев и блестящими, счастливыми глазами смотрел кругом. Сквозь призму личного, стихийного счастья новым, ликующим и светлым чувствовался окружающий мир.

Янтарными бликами желтели радостно солнечные пятна через сетку яркой, молодой зелени деревьев на сырой упругой земле. И свежестью пробудившихся могучих сил дышал ее запах.

Мальчишка-папиросник, шмурыгая спадающими опорками, выкрикивал звонко название немудрого своего товара. Подойдя к скамье, веселыми, нахальными глазами-бисеренами обвел с головы до ног Бахметьева поудобнее и вдруг, смеясь, прокричал пронзительно:

— Папиросы Ад-да, Ад-да, а курить их надда . . . нада ! ! ! Вкусные! Арроматные ! . .

Волоча лениво босые ноги в опорках, залихватски подсвистывая, фуражка — блин набекрень, прошел этот маленький деловой человек.

За ним, в ряд, чеканя шаг, промелькнули метеорами два знакомых генштабиста. С точной грацией военных отдали привет Бахметьеву и, сверкнув весельем молодых улыбок, мерно колыша желтой кожей портфелей, скрылись за поворотом.

На скрипучей и, как бы, сварливой тачке подвез мокрый охряный песок седой садовник. С усилием и стариковским кряхтеньем нагнулся медленно за смятой газетой у ног Александра. Неодобрительно, поверх жестяных очков с грязной ниточкой на дужке, посмотрел снизу на Бахметьева. Сварливо, вроде тачки своей, проскрипел-бормотнул вразумительно:

— Сорите, сорите, гражданин. Вон рядом корзина для мусора . . .

Но взглянув пристально в открытые широко, непонимающие, влажные глаза Александра, — осветился весь морщинками-звездочками и, хитро мигнув стеклами очков, неопределенно махнул рукой.

— Теплынь . . . весна — одно слово . . .

Порыв слабого ветра мягко шевельнул, нагнул зашумевшие кусты сирени, и прохладные капли росы упали с листвы на горящую щеку Бахметьева . . .

Внезапно отрадное ощущение радости бытия нахлынуло на душу Александра . . . Непонятному, неведомому велению подчиняясь, повернулся Бахметьев . . . И, встретясь с милым, знакомым взором синих огромных глаз, — завороженный поднялся навстречу Елене . . .

Не отведя, не опустив искрящихся расширенных глаз — взялись крепко и судорожно за похолодевшие руки и смотрели долго, неотрывно друг на друга. Побледнела, тяжело и порывисто дышала Елена. Закусила верхнюю розовую губу, касаясь маленькой девичьей колющей грудью кожаной тужурки Александра . . .

Раздувая прозрачные ноздри, стыдливо и страстно шепнула:

— Любишь ли ? . . Что я, глупая . . . Вижу, вижу. Любишь, любишь . . . Милый, дорогой, — и отклонясь, перегнулась назад, гибкая, как веточка, чтобы вновь прильнуть к нему, любимому, единственному . . .

Тесно прижавшись, плечо к плечу, ощущая горячие тела друг друга, они шли по душистой аллее.

Веселился месяц май и, трепеща крыльями, проворно суетились и ликовали с ним и воробьи на дорожках . . .

Шуршали еще нежной, молодой, пряно-пахучей листвой высокие липы . . .

Кусты же зацветавшей сирени плотной стеной обступили идущих . . .

Сплетая тонкие, сиренью же пахнущие пальцы с загорелыми пальцами Бахметьева, — Елена заглянула, украдкой сбоку, в лицо Александра.

Поправила, едва прикасаясь ласковым движением, непокорную прядь его волос на лбу, под изломанным козырьком фуражки.

Замирающе, тихонько засмеялась и шутливо оперлась всем стройным телом на руку Александра.

— О чем мы думаем, Бахметьев? — внимательно следя за губами Александра лучистыми глазами, спросила Елена.

— Сейчас, с тобой . . . здесь не хочется думать ни о чем . . . — улыбнулся он, блестя зубами.

— В самом деле ? . . Но знаешь что? — остановилась Елена в раздумьи мимолетном. Знаешь что? — нервно повела плечами она. — Пойдем ко мне в общежитие . . . Анна и Зина в тресте, а у меня сегодня выходной . . . Напьемся чаю, — посидим.

И Елена, чуть задыхаясь, сведя брови, сказала сердито:

— Кроме того, я хочу с тобой говорить . . . говорить о многом. И еще целовать тебя хочу крепко . . . у себя . . . наедине . . . Слышишь, Александр ? . . — И ногтями-миндалинами оставила на широкой бронзовой кисти Бахметьева четыре беленьких углубления.

В первый раз пригласила, гордая, Александра к себе в комнату. Хотя не раз шутливыми намеками Бахметьев высказывал свое желание побывать у нее.

Раньше, в этих случаях, Елена резко бросала его руку и роняла насмешливо:

— Зачем ?.. Что не видел в «светлицах девичьих», Бахметьев? Вас опасно пускать, коммунаров...

Поэтому теперь, Александр недоверчиво и радостно-изумленно посмотрел искоса на Елену.

Но она, не отводя потемневшей синевы своих глаз от его взгляда, ставшего сразу острым и хищным, упрямо и своевольно вздернула крутым подбородком.

— Ну, да... да. Что приглядываешься... никого и нет в комнате... и я хочу видеть тебя у себя... Могу угостить чаем... Если захочешь, конечно.

И опять лукаво засмеялась, покраснев.

Погружаясь всем существом в блаженный восторг от этого полупризнания, Александр задрожавшей вдруг рукой обнял стан Елены...

Шли, уже ничего не замечая, в сладком полусне любви, прислушиваясь чутко и жадно к тому, что пели внезапно зазвучавшие струны их душ...

В комнате Елены, вернее трех девушек, — окна были широко открыты, и весенний, холодноватый еще, воздух, вместе с неясным, заглушенным шестиэтажной высотой, гулом улиц, свободно вливался внутрь.

Веселые, непоседливые солнечные зайчики, неверно колеблясь, перебегали с пола на стены и потолок.

Обвив ласково шею Бахметьева теплыми руками, Елена подвела его к окну.

Навстречу, прямо в их глаза и лица, дул спокойный, мягкий весенний ветерок.

И густые ячменно-спелые волосы Елены колебал этот ветер, щекоча близкие губы Бахметьева.

Здесь, над далекими коридорами деловых улиц города, где, смешно перебирая укороченными ножками, суетливо

ползали далекие муравьи — человечки, — Елена впервые ответила на его поцелуи.

Алело небо закатом. Пробежали часы, как минуты... И счастье пришло к Елене и Александру в этот короткий пробег торопливого времени...

Без мыслей, без желаний спокойно распустив истомой пьяное тело, — Бахметьев вытянулся неподвижно на смятой кровати Елены. Билось ровными ударами у него на груди ее сердце. На горячей, твердой мускулами, напрягшейся руке Александра лежала бессильно ее голова в развитом золоте тяжелых кос. Бледно, утомленно, но и счастливо лицо девушки на плече Бахметьева. Отныне, до конца, до обрыва их жизней, вместе с Александром, будет делить нераздельно его судьбу и Елена... Сносить беззаботно, прижавшись доверчиво к нему, крепкому, спокойному, и счастье и горе. Всегда. До конца...

Елена с сожалением посмотрела на черные стрелки-усики сияющего, самодовольного будильника: — хвастливо и быстро отбивал тот в невозвратное прошлое легкокрылую череду счастливых секунд.

Нагнувшись над Александром и, окутав его лицо душистой волной золотых волос, прикусила легонько его нижнюю, пухлую по детски, губу.

— Пора, милый... Пора, Александр... Без четверти восемь уже, а в половине девятого приходят девочки, — тормошила Елена Бахметьева.

У небольшого овального зеркала, отразившего в своей мерцающей глубине ее полуобнаженную фигуру, Елена, высоко подняв руки, с трудом скалывала своевольные растекающиеся струи тяжелых кос.

Бахметьев видел слегка тронутый весенним загаром розоватый затылок Елены. Нежные короткие завитки ее белокурых волос на полной, прекрасной шее переходили в светлый, едва заметный пушек на спине. Вечернее солнце окрашивало

в теплые тона ее бледную кожу блондинки и золотило нежный пушек на заломленных, еще по девичьи удлиненных, руках.

Александр смял незакуренную папиросу и подошел к Елене. Он обнял ее и, запрокинув грубо, по мужски, ее голову, долго пил поцелуи из яркого, чуть капризного, рта.

В этот момент, ощущая своим напрягшимся до боли телом ее всю целиком, Александр впервые почувствовал священный восторг этого никогда неповторимого и незабываемого мига. Глубокой благодарностью преисполненный к Елене, давшей ему и разделившей вместе с ним, всецело, безмерность их любви, — Александр прижался лицом к ее коленям.

Елена смотрела на него сверху вниз, загораясь стыдливым и торжествующим румянцем, быть может, вспоминая недавние короткие и жаркие минуты безумия...

Упустила золотой поток кос своих и нагнулась к Александру:

— Не надо, милый... Теперь будь рассудительным, мой мальчик... Девочки скоро придут. Ну, прошу тебя!..

Взяла обеими руками бережно его голову и поцелуями несчетными рассказала, молча, о любви своей юной и вечной.

Когда опять у зеркала собирала расспустившиеся косы, вспомнила что-то и, не глядя, передала через плечо Александру тяжелый и плотный альбом.

— Вот... Хотя это и глупо по твоему мнению правоверного коммунара... Я сохранила некоторые карточки моей семьи. Посмотри, это не так уж скучно... А я оденусь поскорее. Не смейся особенно... Не издевайся, не шути зло над этими бумажными остатками дворянского «кровавого» режима... Ну, прошу тебя, Александр... Сашик.

Смеясь, провела пальцем по его скучливо надутым губам и отвернулась к зеркалу — скрыть в складках одежды свое молодостью блистающее, нагое и теперь немного грешное тело.

Небрежно перегнув тяжелый альбом на коленях, рассеянно переворачивал, приличия ради, Александр толстые картонные страницы. Со страниц, слегка пожелтевших, из овальных отверстий-рамок молчаливо и равнодушно, порою надменно, порою смеясь и хмурясь, смотрели на него незнакомые ненужные лица ушедших, чуждых ему поколений...

На полинялом дагéротипе седой генерал в шитом, тугом мундире, брюзгливо скосясь на бок, жилистой, старческой рукой твердо сжимал эфес сабли.

Институтка в белой пелерине подарила Александра испуганным взглядом...

Старуха, высокомерно полуоборотясь надменным профилем, презрительно улыбнулась ему в лицо.

Худенький, стройный кадет неловко облокотился на неживую баллюстраду...

Белый дом с колоннами и группа играющих в крокет на лужайке. Игроки, замороженные навеки объективом, неподвижно толпились у полосатых шаров.

В длинноногой, голенастой девочке, с пышным бантом в светлой косе, Александр узнал Елену. Он подавил зевок и бросил хранилище бледных призраков прошлого на кровать...

Карточка, сильно истертая, вылетела из негнущихся, упрямых страниц. Плавно легла у ног Елены... Та нахмурилась недовольно...

— Ну, какой ты небрежный, Сашик. Как раз карточку не дядьки какого-нибудь уронил, а Владимира... брата. Убит в гражданскую... Глупо убит... Ужасно глупо... Да, нет, хотя глупость не подходит никак — подло!! Омерзительно подло... преступником.

Она присела на край кровати и горячо, страстно проговорила:

— Знаешь что, Александр... Я нисколько не защищаю и не оправдываю ни тех, ни других. В гражданской были не-

избежны жестокости, но я не могу простить, никогда не прощу тому зверю, который взял так подло, так ненужно, главное ненужно, жизнь Володи!.. Каторжанин какой-то из шайки таких же, как успел заметить тогда Володин друг, сам чудом спасшийся.

Заботливо расправила смятый угол открытки и положила карточку на стол бережно. Посмотрела на молчаливого Александра и прижалась нежно губами к его лбу.

— Не сердись... Не дуйся... Не обижайся за своих, милый. Я сейчас... И мы пойдем. Не налететь бы внизу на девочек... Да, ничего. Ведь твои, коммунарки!.. Славные в общем. Симпатичные...

Напевала тоненьким голоском какой-то пустяк, оглядывая в последний раз себя внимательным и заботливым взглядом женщины, счастливой своей любовью.

Александр сидел задумчиво. Его рука бесцельно перебирала бахрому одеяла. Его расплывчатые, еще неясные обрывки воспоминаний двадцатилетнего прошлого зашевелились навязчиво в сознании. Он старался вспомнить... и не мог. Вероятно, это мучительное усилие мысли было вызвано словами Елены о брате.

Александр досадливо и устало встряхнул головой... Машинальным движением взял со стола ветхий кусок картона. И вдруг проблеск в сознании, неожиданный, невероятный, режущий и острый, как бритва... Слепящий мучительно, как синий луч молнии... Он вспомнил...

*

Была зима в Росии тогда в тысяча девятьсот восемнадцатом гибельном и студеном году.

Тогда начались звенящие и сухие морозы в Сибири в те поры...

Шли вкрадчиво мягкие сугробные вьюги. Плыли тихо и невысоко над опустошенной землей сизые гряды косматых

туч, и снег ватными хлопьями тяжело и бездумно валился с низких гнетущих небес...

Разворачивались стихийно и события на Урале тогда... Алели в тумане ранних вечеров полосы зловещих закатов... Багрово и дымно полыхали зажженные деревни и города.

Черная кровь людей пятнала нередко серебряную белизну снега...

Слабело сопротивление белых полков, и армия Колчака отходила неуклонно на Восток, к границам невозмутимого, загадочно-равнодушного Китая.

Рос боевой подъем красных частей. Крепли и пополнялись ежедневно новыми бойцами их усталые, но упорные отряды.

Не сгибаясь, шли на пулеметы белых шеренги кронштадтских матросов... Задыхаясь, съеденными цинком легкими, неловко бежали в штыки нестройные толпы Ижевских и Сормовских рабочих... Лениво и вразвалку, попыхивая цигарками, привычно шли красногвардейцы, заматерелые фронтовики, годы кормившие вшей в окопах Галиции и Польши... Что им эта Гражданская!

«Эх яблочко, да куда ты котишься?..
В Сибирь попадешь, да не воротишься!..»

Тогда величавый Императорский гимн чередовался со звонкой медью труб Интернационала...

Росла и ширилась Великая междоусобица, и в стихийном порыве борьбы люди, брошенные друг другу на грудь в братском, но смертельном объятии, казалось, забыли о заре грядущего счастья, обещанного им их вождями.

Да, солнце уже показалось одним краем над снежными вершинами недалеких сопок. Всю ночь мела пурга... На зеленых лапчатых ветках пихт и елок пышными пластами лежал искристый снег. Смутные очертания синели по сто-

ронам. Сугробы мягкого, еще не слежавшегося снега занесли-закидали кругом все таежные тропинки.

На опушке леса отряд остановился. Уталые кони стояли, опустив низко заиндевевшие шеи, отфыркиваясь и сердито нахлестывая хвостами. Их ноздри широко раздувались, и клубы молочно-густых облаков пара выбрасывало мерное полное дыхание коней.

И люди устали. Ядреный мороз, не жалея, щипал огрубелые бородатые лица всадников.

В отряде было семь человек. Бросив поводья, высвободив натруженные ноги из стремян, закутанные до ушей башлыками, в низко надвинутых на глаза косматых папахах, партизаны молча курили. Александр смотрел безразлично и сонно сквозь спутанные, забеленные инеем ресницы прямо перед собой, на широкую, чуть сутулую, спину Ивана Тарасыча.

Плотно, в обжимку, с бесхитростным охотничьим щегольством, лежал на плечах Ивана Тарасыча дубленый мягкий полушубок. Черные портупейные ремни строго и аккуратно пересекали на-крест его светло-каштановую кожу. Легкий и короткий австрийский карабин, притороченный справа к седлу, висел под рукой.

Тарасыч сегодня в «духах». Хрипя изжеванной трубкой, старик, склонившись по казачьей ухватке на бок, бодро рассказывал что то грубым, простуженным голосом политруку Яшину. Тот ежась от мороза, через силу улыбался растрескавшимися синими губами.

А Иван Тарасыч, довольный холодом морозного раннего утра, налитый силой пятидесятилетнего, бережливо сохранившего все силы, крепкого мужчины, поминутно расправлял рыжеватые усы своей рукой в наивной зеленой варежке и раскатывался громыхающим низким смехом.

В прошлом, безвестный и мирный учитель школы Ижевскаго Завода, теперь водил за собой партизанские отряды

Иван Тарасыч Бондарь по узкому неверному, — пропастями и обрывами богатому, пути военных успехов... Но еще не оборвался ни разу. Еще не наскучил, видно, он насмешливому счастью предводителя...

На привалах и коротких стоянках в жарких, дымом пропахших, крестьянских избах, отогревались всласть бойцы от ледяных переходов... Расстегнув на все пуговицы защитную затасканную тужурку свою, дуя блаженно на блюдечко с крепчайшим и горячейшим кирпичным чаем, — любил пофилософствовать шутливо Тарасыч о прошлом, — будничном таком, о настоящем, — вихревом и мятелистом, о будущем, — коего явь сокрыта в неопределенности Бытия.

Легонько почесывая, заполированной до глянца ворванью поводьев пятернею, волосатую мускулистую грудь, хитро скалится Бондарь восторженным и внимательным лицам Александра и Яшина.

«Стра-а-а-те-егия» — нараспев, с омерзением выговаривая нелюбимое слово, смеялся Тарасыч:

«То пе-да-а-агогия заела, едрить ее в кабалку, а теперь эта пакость жить не дает... Одолела меня стра-а-а-тегия... Одолела!.. Однако, до чего я не люблю это слово представить себе не можете, друзья дорогие!.. А науку, что под словом этим подразумевается, — прямо скажу: — не понимаю!.. А ведь не совсем дурак, будто бы?.. А?..»

И мигнув лукаво медной бровью, раскатывался безудержным, подмывающим смехом.

«Нн-о-о, стараюсь уяснить, с грехом пополам... Хоть, и трудненько: — цивильный человек и академий, вишь, никаких не кончал, к тому же... А посему... Ну ка, Александр, плесни ка еще черепушечку кипяточка, да очисти стол... За дело!.. Наметим дневной переход... Что и как...»

За картами и кроками Бондарь преображался. Быстро чертил зигзагообразные линии новых и необыкновенных

маршей его нетерпеливый карандаш. Часто ломался от порывистого рывка цветной графит. Часто до утренних петухов, в кудрявых облаках махорочного курева, склонялись низко над волнистыми горизонталями двухверстки три коротко стриженных головы. Часто совсем не ложась спать, опускались привычно в скрипящую кожу седел Бондарь, Александр и худой, вечно покашливающий, с провалившимися глазницами, длинный вихлястый Яшин.

Эта жизнь проходила трудно, порой невыносимо. Но она опьяняла, — очаровывала . . .

И незаметно побледнели в сознании Александра воспоминания мирных картин недавнего прошлого. Как будто-бы и не было его совсем. Да и было-ли оно, — это прошлое ? . . Комната с низким потолком в казенном домике ? . . Белый некрашенный стол на кухне возле отдающей знойным жаром печи ? . . Храпение отца, сморенного усталостью, после ночи стремительного лета сквозь тьму и ветер на ревущей, лязгающей махине паровоза ? . . Яркое пятно не мертвого, — живого света уютно пахнущей керосином лампы-молнии ? . . Любимые книги ? . . Молодые, звонкие голоса, неуверенно ломавшиеся в споре ? . . Горящие глаза девушек ? . . Да, нет ! . . Было ! . . Было ! . . И опять возвратится неторопливая вереница этих будничных мирных дней . . . Скоро . . . Теперь скоро пожалуй . . .

«Эй ! . . Ты спишь, что ли, паря ? . .» Тарасыч тронул нагайкой Александра.

«Говорю», продолжал он, обращаясь к Яшину.

«Борьба близка к концу . . . Но эта борьба ведомая нами теперь ничто в сравнении с той, которая последует в грядущем десятилетии . . . Сейчас . . . мы боремся с людьми, а тогда мы будем . . .»

Бондарь вытянул шею, прислушался и поднял предостерегая руку с плетью:

«Уймите коней, ребята!» сухо и властно обратился он к всадникам: «Не заржали бы, не зафыркали, ненароком... Чуется мне: Едет кто-то... Ну-ка, Остафьев, у тебя, у лесного бродяги, уши понежнее... Прислушай-ка!..»

Остафьев бросился с коня. Расставив широко гнутые кавалерийские ноги в мятких улах, партизан повернул волосатое ухо к земле и прислушался. «Двое... Верхами...» Нехотя выговорил он скупые слове и, лениво взобравшись на монголку, тронулся на прежнее место.

Не ожидая приказания, люди сняли винтовки с плеч.

Шуршание хвои и треск ломаемых ветвей стали слышны всем. Неизвестные всадники приближались с востока, где полыхал огненный океан горящих восходом небес.

Невольно люди переглянулись, криво усмехнувшись, — высокий, необычайно красивый в морозной тишине утра, в молчании серебряного леса, молодой тенор завел невдалеке:

«Э-эх долго я звонкие цепи носил
Долго скитался в горх Акатуя...
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я волю почуя»

Песня сибирской каторги росла, ширилась, приближалась. Второй голос низким баритоном согласно вошел в величавый, медлительный, как течение бескрайних сибирских рек, припев:

«Славное море Священный Байкал!..
Славный корабль, омулевая бочка!..

И с мрачным, почти диким торжеством, дружно, зазвенели неизвестные голоса высоко и мучительно страстно:

«Эй ба-а-агрузин, пошевеливай вал!
Плыть молодцу недалечка!»

Бондарь весело подмигнул Яшину и неторопливо вытянул наган из кобуры.

Теперь по охотничьи насторожено окаменело его большое, мясистое лицо. Скосил глаза на Александра и шепотом кинул:

«Рассыпаться цепочкой по опушке... Постарайтесь обжать тех кольцом... Когда покажутся, — сомкнуться... Не стрелять. Взять живьем...»

Махнул рывком плеткой и отъехал к темной чаще засыпанного снегом леса.

Полукругом стали верховые сторожко. У бедер, наготове застыли синие, мутной изморозью подернутые стволы карабинов.

У поворота где из-за сопки выходила едва протоптанная тропинка, фыркнула лошадь... И другая заржала ей в ответ. Слышались явственно, теперь, два молодые голоса, особенно свежие в спокойствии зимнего утра.

Из-за стволов кружевных елей показалась рыжая лошадь. Она осторожно ступала точеными ногами по глубокому снегу, прядя шеей в такт пружинящей, невесомой поступи.

Всадник рельефно выделялся на белом фоне снежного пригорка. В коричневой офицерской бекеше, отороченной серым барашком и каракулевой лихо заломленной назад папахе — он был молод и хорош собой.

Легкая тень небольших усов обвела капризный и дерзкий рот. Выпуклые смелые глаза всадника щурились поверх верхушек деревьев на червонное раннее солнце.

Казак, по погонам это был хорунжий, лениво натянул поводья и остановил коня.

Он обернулся и с юношеским баритоном,стараясь делать его ниже и внушительнее, видимо подражая кому-то, крикнул:

«Ну-с молодой!.. Изволите отставать... Не привыкли еще к боевой обстановке!..»

Не выдержав, засмеялся:

«Эх ты... шпак несчастный, Володька!..»

Голос хорунжего вздрогнул. Он остановился на полуслове, задохнувшись. Выпуклые глаза его с бессмысленным удивлением встретили готовые, цепкие взгляды чужих молчаливых людей.

Его рот перекосился. Но сознанием сменился мгновенно бессмысленный испуг в лице всадника. Александр увидел, как рука казака в щегольской коричневой рукавице рванула повод, раздирая губы коня. И рыжий жеребец захрапел, кося кровавыми белками, уронил клочковатую пену, взвиваясь стремглав на дыбы. В памяти Александра остались навечно и рыжие космы гривы того и просекающие бешено воздух кованые копыта. На задних ногах повернулся рыжий скакун круто. Хорунжий втягнул голову в плечи, припал к шее коня и сразу, с места, взяв в карьер, скрылся за сопкой. Никто не выстрелил ему вслед, никто не шевельнулся.

В мягком удаляющемся конском топоте ясно донеслась грубая истеричная ругань беглеца.

Теперь семеро недвижных молчаливых разведчиков смотрели пристально и в упор на второго незнакомца.

На невидном сибирском маштачке сидел неуклюже, мешком, мальчик лет шестнадцати в ватной гимназической тужурке.

Юное, розовое от холода лицо гимназиста растерянно улыбалось бородатым, угрюмым людям.

На секунду его большие голубые глаза встретились с глазами Александра. Затем гимназист медленно перевел взгляд на черное дуло винтовки, смотрящей готовно и твердо ему в грудь. Бледность поползла на румяные детские щеки гимназиста. Он невольно поднял руки вверх... Но в этот миг морозную тишину утра полоснул выстрел, и гимназист, запрокинувшись на спину невозмутимого конька своего, свалился на снег.

Стрелял Александр. Не раздумывая, прямо с бедра, выстрелил он. И пуля, шалая и глупая, но удачная и меткая, сразила жертву наповал. Гимназист лежал, уткнувшись лицом в сугроб, разметавшись, как в сладком, глубоком сне. Одна рука, в последнем сознательном усилии, судорожно зацепила повод лошади ... И теперь флегматичный сибирский маштачек безразлично и понуро стоял над трупом хозяина, принюхиваясь и сдувая дыханием сухой снег с теперь уже бледного лица ...

Всадники сдвинулись в тесный круг. Они молчали. Тарасыч теребил нервно рыжий ус свой. Хлестнул зло коня. Подъехал вплотную к убитому. Сдвинул папаху на упрямый хохлацкий затылок. Не глядя на Александра, сказал, будто бы и равнодушно:

— На кой шут стрелять надо было ? .. Или кто шилом колол ? .. Напрасно угробил мальченку ... Зря ... Живой принес бы нам больше пользы ... А теперь ... Ну, да теперь поздно языком трепать ... Аника-воин ! .. Айда, ребята ! ..

Дернул сердито коня и крупной рысью тронул обратно к лагерю. Длинной бичевкой потянулись за ним сумрачные, чем-то недовольные всадники.

Один Астафьев задержался. Он спрыгнул с седла и, наступив на руку мертвица, с усилием вырвал из пальцев, начавших быстро костенеть, повод конька. В недолгом раздумьи посмотрел на раскинутые ноги убитого.

Сопя и отдуваясь, стянул новенькие, добротные пимы. Довольно ухмыляясь, старательно оббил их друг о друга. Взгромоздился снова на коня и ходким наметом пустился вдогонку за ушедшими товарищами.

СОДЕРЖАНИЕ

Только несколько слов 7
Два тигра 11
Незабудка 29
Месть 69
Где солнце целует горный снег 76
Сказ таежный 83
После симфонии 105
Отчий дом 113
Один миг 125

Готовятся к печати книги Б. ГЕРАСИМОВА-ШЕРВУД:

«ТРОПА ТАМЕРЛАНА» — Роман. Часть 1-ая.

«ЗОЛОТЫЕ ЧЕЛЮСТИ» — Сборник рассказов.

«НА ВЫСОТАХ» — Роман.

Заказы на книги направлять по адресу издателя:

R. Sherwood P. O. Box 2836. San Fancisko 26
California. U. S. A.

兩隻老虎